

Эдмон Гонкур, Жюль Гонкур

Шарль Демайи



Эдмон Гонкур
Шарль Демайи

«Public Domain»

1860

Гонкур Э.

Шарль Демайи / Э. Гонкур — «Public Domain», 1860

«...В этой комнате, которая была конторой редакции газеты „Скандал“, сидело пять человек. У одного были белокурые волосы, небольшой лоб, черные брови и глаза, небольшой нос прямой и мясистый, завитые белокурые усы, маленький рот, чувственные губы и пухлое лицо, обличавшее в молодом человеке склонность к полноте. Другой был молодой человек лет тридцати четырех, маленький, коренастый, с плечами Венсенского охотника, с налитыми кровью глазами, рыжей бородою и передергивающимся лицом, напоминавший горбуна. Он имел вид хищника мелкой породы...»

Содержание

I	5
II	7
III.	13
IV	15
V	16
VI	18
VII	20
VIII	22
IX	25
X	26
XI	27
XII	29
XIII	30
XIV	34
XV	37
XVI	39
XVII	41
XVIII	48
XIX	50
XX	52
XXI	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Эдмон Гонкур, Жюль Гонкур Шарль Демальи

I

– Статью? Ты спрашиваешь, можно ли сделать статью из моей истории? Помилуй, да ребенок шести лет с завязанными глазами сочинил бы из неё комедию в стихах! Сцена первая: фойе Comédie-Française... понимаешь... дом Мольера... Тальма... воспоминания... монологи, там, где Цезарь говорит со Скапеном, где Мельпомена берет веер у Талии, где, где... да этому конца нет! Перейдем к нескромностям: Провост и Ансельм, играющие в шашки, ingénue, требующая мороженого, привратник, оказывающийся князем, наследником Тосканы, и мадмуазель Фикс, заставляющая его краснеть из-за того, что он сам не разоблачил себя, «Общество выкупа пленных»...

– Это еще что за общество?..

– Ты не знаешь его? Однако, это тайное общество... Угадай, кто обитает в фойе Comédie-Française?.. Моллюски! Это ужасно! Раз они пристали, кончено. они вас увлекают в сокровенность своего разговора... Положим, мужчина или женщина, для моллюсков это все равно, Го, если хочешь, или мадемуазель Рикье, задетые Фраппаром или Бенстом, английским автором... очень хорошо! Член общества прибегает: извините! Я должен вам сказать одно слово... Спасен! говорит другой... И вот, что такое Общества выкупа пленных!.. На эту тему можно сочинить строк пятьдесят... Затем идут картинки фойе.

– Потом?

– Потом, потом? Ты выставляешь свою жену: знаменитую актрису... Ты ее не называешь... ты говоришь только: наша Селимена... Это никого не компрометирует!.. Наша Селимена; играла кудрями одного великого поэта... Тут инициал поэта... Надо непременно назвать поэта, иначе можно смешать его с простым смертным, пишущим стихи... Ты начинаешь диалог: «О, мой поэт, говорит Селимена, почему вы не пишете более ваших восхитительных комедий, которые только вы одни умеете так писать? За вашу роль, где мне было бы пятнадцать лет, я отдала бы десять лет моей жизни!.. Тут ты можешь вставить словцо: Селимена, вы от этого только выиграли бы. Перейдем к поэту. Поэт пообедал; он храпел в продолжение часу один в ложе на восемь мест, он выпил, и как выпил... Он мог бы написать эпическую поэму, а он говорит как негр. Заставь его говорить как негра, публика это любит, это напоминает ей «Павла и Виргинию!» – «Я... пьесу?.. Я... комедию!.. работать? Дома невозможно!.. Грязно... ничего не найти... повсюду зубные щетки... работать!.. Слишком грязно!.. – Но если вас поместить в хорошенькой, красиво убранной квартирке? – О!.. Божественно... на мебели нет гребенок... обстановка... очиненные перья... пьесу!.. две пьесы!.. три пьесы!.. Сколько угодно! До завтра!.. – Артистка с улыбкой жмет руку поэта... Поэт точен как часы. Он пробует кресло: в нем можно заснуть, даже не читая!.. Стол, белая бумага, перья, чернила!.. «Если б были сигары, вздыхает поэт, тут было бы все для того, чтобы писать!» Селимена посылает за двумя ящиками сигар. Наступает час завтрака. «Ах, – говорит поэт, – я должен покинуть вас... я буду завтракать с приятелями... мы заболтаемся... невозможно... день пропадет!» – «Поставьте два прибора», приказывает Селимена прислуге и затем обращается к поэту: вы будете завтракать здесь, неправда ли? Что вы любите? – «Все, кроме жареной курицы и бордоского вина». Вечером новые жалобы поэта: «слушайте, если я уйду к себе, я приду только завтра, после завтра только встану... и...» – «Хотите я велю вам сделать постель в гостиной?» – «Нет я боюсь ночью один, а вы?..»

Одним словом, к концу недели пьеса готова. Она переписана.

– Ах, – вдруг восклицает поэт, – дайте мне ленту, Бога ради, мне надо одну из ваших лент! Вот хоть эту! У меня такая привычка – связывать мои рукописи шелковой ленточкой... это глупо, но что делать!

Селимена дает ленту, делает бант и поэт несет свою пьесу... другой Селимене из Théâtre Français!

Теперь можешь назвать это: *Повесничанье мужчин* – и дело в шляпе!

Все это говорилось в комнате, оклеенной голубоватыми, пожелтевшими от дыма сигар, обоями. На стенах не было никаких украшений, кроме вешалки с хрустальными розетками для шляп и огромной литографии, приклеенной четырьмя облатками: она изображала процессию фигур с огромными головами, направлявшихся к Пантеону, где Надар раздавал живым награды Потомства. Все украшение камина состояло из трех свертков папиросной бумаги. Большой стол, покрытый зеленым сукном, стоял посреди комнаты. Восемь стульев вокруг и диван в углу – одни напоминали о благосостоянии дома своим красноречивым видом новой мебели красного дерева, с красной шелковой обивкой.

II

В этой комнате, которая была конторой редакции газеты «Скандал», сидело пять человек. У одного были белокурые волосы, небольшой лоб, черные брови и глаза, небольшой нос прямой и мясистый, завитые белокурые усы, маленький рот, чувственные губы и пухлое лицо, обличавшее в молодом человеке склонность к полноте.

Другой был молодой человек лет тридцати четырех, маленький, коренастый, с плечами Венсенского охотника, с налитыми кровью глазами, рыжей бородою и передергивающимся лицом, напоминавший горбуна. Он имел вид хищника мелкой породы.

Женские волосы, женский рот, вздернутый нос, мальчишеский взгляд, паяснические жесты, довольство жизнью – все это самому молодому придавало вид херувима и школьника на каникулах.

Несколько седых прядей, зачесанных с затылка волос, скрывали желтый череп самого старого. Глаза его были бесцветны и бездушны: они не глядели; а немое лицо его скрывалось за реденькой желтоватой бородой.

Пятый ничем не выделялся. Он был недурен собой, красив как всякий причесанный, завитой, вылощенный и вычищенный, как всякий, носящий бородку и лорнет.

Первый, небрежно одетый, с расстегнутым жилетом, подписывал статью, каллиграфически переписанную; его звали Молланде.

Второго, всецело погруженного в стуканье по стене большой линейкой, звали Нашет.

Третий, торжественно из бумаги делавший петушка, назывался Кутюра.

Четвертого, разрезавшего спичкой новый том, звали Мальграс.

Пятый – Бурниш; опершись на камин, он смахивал мизинцем левой руки белый пепел сигары.

Молланде, Нашет, Кутюра, Мальграс и Бурниш составляли редакцию «Скандала». Они были его постоянные сотрудники, его официальная опора, столпы, которые поддерживались еженедельно партизанами, составителями книг без работы, водевилистами без сотрудничества, всей этой летучей армией малой прессы.

Эти пять человек, прислушивавшиеся к бронзовому зеву Парижа, жившие за кулисами всех общественных ступеней и в кухне всяких реклам, знавших, что причиняет рану мужчине или седой волос женщине, эти пять человек работали в «Скандале» не только для того, чтобы доставить удовольствие себе и другим. Ни один не был тем добродушным скептиком, изображенным на виньетке маленькой газетки, которая заставляет плясать под звуки тамбурина важных фигляров и почтенных шутов. Они преследовали в своей газетке другую цель, кроме денег: карьеру, различные мечты и вождения своего тщеславия, самолюбий и темпераментов. Каждый из них скрывал в себе человека и цель.

Молланде, хитроумный, ядовитый, себе на уме и деликатный, не заносившийся высоко, но чуткий, с порывами, когда представлялась в том надобность, зубастый, восхитительный пародист, великий человек по части шутовской критики и цинической эстетики; этот Молланде, родившийся в Париже под статуей Паскена, со склонностью к иронии и гением мелких статей, начитанный, почти ученый, с огромной памятью, мечтал бросить эту жизнь изо дня в день, это гаерство мысли, которое так быстро изнашивает самых сильных и молодых. В глубине души этот литературный зубоскал был буржуа, жаждавший почета, положения и мещанского счастья. Он желал быть семьянином и вкушать от плодов собственности. Он добивался покоя, тунеядства, мирной обеспеченности лавочника, составившего себе состояние и удалившегося от дел.

Вся его чувственность заранее расцветала при мысли о любви под шумок, о вкусных домашних блюдах, о блаженном и законном удовлетворении своих инстинктов. Он мечтал

о том дне, когда, сняв с себя платье, закапанное чернилами, он приобретет дом с зелеными ставнями, деревеньку à la Поль-де-Кок, где будет играть роль деревенского судьи!.. Пред ним проносилось будущее во всем его опереточном величии, и он забывал все: настоящую необеспеченную жизнь, учтенные авансы, неверные обеды, отказанный кредит, непоплаченные долги, плохое вино и сомнительные пирожки.

Насколько грезы Молланде были мелки, и стремились к осуществимым идеалам Горация и Жерома Патюро, настолько тщеславие Нашет, погоняемое его 34-мя годами, влекло его к случайностям и опасностям.

Однажды, владелец маленькой виллы в Вогезских горах вошел к своему поверенному, мэтру Нашет, чтобы заплатить ему издержки по одному незначашему процессу. Список издержек показался ему несколько велик.

– Я пришлю его вам по таксе, назначенной председателем суда, – сказал Нашет.

Он прислал и счет был заплачен. По какому-то делу помещик был отозван в Эпиналь и, говоря с председателем суда, близким его семейству, вспомнил:

– Однако вы меня пощипали прошлую неделю!

– По какому делу? – спросил председатель.

– Робино и Вердюро.

– У нас не было этого дела.

– Но, господин председатель, у меня есть ваша подпись! Мне ее представил Нашет, мой поверенный.

– Нашет? Вот уже месяц как я не оценивал ни одного его дела... Пришлите мне пожалуйста ваш список издержек.

По получении списка председатель Дюпере попросил Нашет в свой кабинет.

– Милостивый государь, – сказал он, показывая ему счет, – вы знаете, куда это ведет?.. Я не пошлю вас туда; но вы дадите мне слово, что продадите вашу контору в шесть недель.

Нашет поклонился, вышел и не думал продавать. К концу шести недель Дюпере напомнил ему об его обещании, Нашет стал ему говорить о ликвидации дел, о вознаграждении клиентов и кончил тем, что стал просить отсрочки еще на шесть недель. Дюпере дал ему отсрочку. По выходе из суда, Нашета видели на прогулке с Ганьером, первым клерком адвоката Ланглуа; это был человек работавший как лошадь, какие до сих пор попадаются в провинциальных конторах, без гроша в кармане, отчаявшийся когда-либо приобрести нотариальную контору, и осужденный оставаться первым клерком на вечные времена. По истечении шести недель, Дюпере, видя, что Нашет не продает, начал ему угрожать; Нашет отвечал, что он не продаст, так как председатель не имеет доказательств, и на этом раскланялся. Дюпере позвонил, велел принести из канцелярии дело Нашета, но его не оказалось; Дюпере возбудил преследование, но его пришлось прекратить за неимением улик. Нашет сохранил свою контору. Несколько времени спустя Ганьер купил контору своего патрона. Весь Эпиналь говорил по секрету, что Ганьер получил 30.000 франков от Нашета за уничтожение знаменитого списка издержек.

Несколько месяцев спустя толки в обществе, шум, вызванный этим делом и разорение его опустевшей конторы, заставили Нашета удалиться из этой местности. Он исчез, бросив свою жену, дочь толстого соседнего фермера, беременной; все её богатство заключалось в маленьком домике с 1.200 франков аренды, который он не успел продать.

Но скандалом процесса и побегом мужа дело не ограничилось, к удовольствию злых языков провинциального городка; все смеялись над забавными выходками этой крестьянки, воображавшей себя дамой, которая принимала визиты после родов, лежа, в шляпке из Парижа! Сын адвоката Нашета, едва ставши мужчиной, с первым пушком молодости, кое-как дотянув до конца учебы в коллеже Нёшато, бежал из родного города, где над ним тяготело прошлое его отца, преследуемый, как он думал, ненавистью магистратуры, где ему мешали его имя и его мать! Оскорбленный, уязвленный с детства, преследуемый злопамятством и вечными насмеш-

ками над после родовой шляпкой его матери, что более всего приводило его в бешенство, он бежал в Париж, унося в себе месть Кориолана.

В Париже он отыскал Ганьера. Ганьер, участвовавший в какой-то ростовщической афере, расстроенный правосудием, угрожаемый крестьянами, которых он разорил и, наконец, невыгодно продавший свое дело, открыл на набережной Grands-Augustins книжную лавчонку, куда вложил последние шесть или семь тысяч франков, спасенных от разорения. Нашет поступил в Ганьеру приказчиком на 25 франков в месяц с квартирой и столом. Приходя с улицы Guéti il-Boisseau, он отдыхал и жадно проглатывал библиотеку своего патрона, пичкая себя безнравственными романами и порнографическими книжками, которые тайком продавал Ганьер.

Он жил один, угрюмый, хмурый, забившись в своем углу и пугаясь самого себя, когда он чувствовал несоразмерность своих желаний и сил, и спасаясь, как он называл, от искушения, от жажды роскоши, колясок, женщин, словом, всего, что составляет парижскую жизнь. Наконец, однажды, он окунулся во все удовольствия и стал проводить в них каждую ночь. Он принялся за ремесло танцора в Шато-Руж и Валентино, танцуя с восьми до одиннадцати часов вечера за порцию говядины и литр вина. Случайно он встретился со своим земляком молодым рисовальщиком Жиру. Жиру повел его в свою мастерскую, посмеялся над ним и над его лавкой, посвятил его в свое ремесло и, пораженный его остроумием, уговорил писать. Жиру поставлял иллюстрации одному крупному издателю. Представленный Жиру, Нашет получил от издателя поручение составить несколько реклам. Рекламы Нашета «подошли» издателю, и он поставил его во главе обширной отрасли своего учреждения реклам, объявлений в журналах, всего, что делает успех. Монеты в двадцать, двадцать пять и даже в сто франков начали сыпаться в карман бывшего приказчика книжной лавочки. Нашет, по своему ремеслу шефа клаки, поставленный в соприкосновение с людьми и их самолюбиями, которых он был обязан рекомендовать публике долго пописывал в разных маленьких мертворожденных листках, потом втерся в «Скандал», где целый ряд его статей, едких и остроумных, заставил тотчас же оценить его.

Живой, нервный, самоуверенный ум этого молодца быстро освоился с этой шумной жизнью, с этим звяканьем особого жаргона, с этим миром, где всякое вранье со свободой кокотки и с видом благодушного распутства прогуливается от одного в другому на крыльях насмешки, уподобляясь ласкам того хищного животного, которое лижется до крови. Раз набив руку, увлекаемый своей натурой, Нашет дошел до крайностей, развернулся в шутках и задевал всех и каждого, как бы желая испробовать всю глубину его чувствительности и терпения, узнать сильного и оседлать слабейшего. Из-под этой грубости вранья устного или письменного пробивались порывы и выходки характера беспокойного, недовольного, грусть, тысячи задеваний щепетильности и капризы, требования и прихоти куртизанки. Раздражавшийся малейшим препятствием, выходивший из себя от самых обыденных житейских неудач, приходивший в ярость на трактирных гарсонов, на людей, на извозчицких лошадей, грозивший кулаком небу и земле, Богу и своему портю, Нашет был одним из тех несчастных, которые жадно бросаются на все, не находя ни в чем удовлетворения. Перед каждой мечтой, которой он достигал, на каждой ступени, на которую поднималось его честолюбие, он останавливался только для того, чтобы пожалеть о своих усилиях, унижить и затоптать свою победу, как поступают дети, которые секут свою игрушку за то, что, распотрошив ее, они не нашли в ней ничего. Склонный к разочарованию, как все порывистые беспорядочные, непоследовательные натуры, Нашет не умел создать серьезного произведения, которое требует от писателя строгости и веры в себя, постоянства религии и надежд. Опьяненный своими дебютами в «Скандале», Нашет отдал зараз все свои эффекты, все свои силы.

Опустошив до конца классические этюды, эту обетованную землю, где все Антеи современного фельетона черпают свои силы и воображение, Нашет начал грызть ногти перед листом белой бумаги. Он посещал кафе, кабачки, пивные, подозрительные места парижского дебоша,

раздражая, подзадоривая свой мозг, стараясь разогреть свое вдохновение гамом слов, парадоксами, всяческими насилиями иронии.

Все говорило в этом человеке о неутолимой и яростной жажде шумных, гордых, выставленных на показ наслаждений, как те амуры, торчащие на окне какого-нибудь ресторана на Итальянском бульваре, тех наслаждений тщеславием и авансценой, для которых поверенным является общественное любопытство, трубой хроника, честолюбием унижение партера. Нашет жадно бросался на эти удовольствия и вызывающе обращался к своему родному городку, посылая отдаленным отголоскам насмешки прошлого то любезное письмо знаменитого критика, то приглашение на бал к банкиру, то свою остроту, иллюстрированную знаменитым карикатуристом и напечатанную в каком-нибудь журнале. И когда парижане, читая свою газету в своих постелях, спрашивали себя, чего это так сердится маленький Père Duchène, Нашет в мечтах видел свою знаменитую особу входящим в подпрефектуру; его встречали поклонами, он не кланялся никому; он обедал у подпрефекта; вечером на бале у г-жи Гранпре, – он бывал на балах у г-жи Гранпре! – он ни на кого не обращал внимания и сухо отвечал г-же Гранпре:

– Я не танцую.

А когда мадемуазель Гранпре поэтически описывала ему месяц май, он отвечал, поправляя галстук:

– Май месяц? Я обожаю его, сударыня, в Париже: вечером становится так светло, что можно различить личики гризеток, выходящих из магазинов...

Кутюра, ребенок, школьник, пустозвон, делатель мыльных пузырей, вытаскивавший стулья из-под людей, этот Кутюра, с виду такой взбалмошный, невинный, чуждавшийся всяких задних мыслей, обладал железной волей, холодной, глухой, страшной, как тот парламент, который желает сделаться третьим сословием, или как та секта, которая желает быть религией. Наблюдательность была его самой выдающейся чертой; благодаря ей он с детства видел все сквозь наружную оболочку. Он с любопытством относился ко всему, что человек в общечеловеческой скрывает, и открывал у каждого, с верностью второго зрения, его тайну, недостаток, дурные инстинкты, дурной поступок, употребляя свои открытия, чтобы войти в доверие, и пользуясь вынужденными признаниями, чтобы держать людей в руках, стараясь, впрочем, никогда не доводить дело до крайностей. Часто, болтая с женщинами, он умел их заставить говорить и находил в них самую лучшую полицию, тем более, что они этого и не подозревали. Отлично владеющий собой, умеющий заглушать свои симпатии и антипатии, подавлять свои порывы, равнодушный к людям, как к пешкам, ловкий в эксплуатации каждого в свою пользу, в чаду литературной полемики готовый всегда пожертвовать мстостью для мирного договора, добрым словом для друга, и своим тщеславием для своего будущего, Кутюра имел мало друзей; но он сумел их сделать вполне преданными, помогая им, смотря по надобности, своим пером, своей сметливостью и шпагой.

Обладая в совершенстве опытностью малой прессы, её тактом и изворотливостью, наукой оттенков в значении слов, умея сделать из рекламы сатиру, и так похвалить нападая, что автор был польщен такими нападками, он имел достаточно хладнокровия, чтобы дать отраву и ранить до крови только людей, стоявших ему поперек дороги. Всегда прикрываясь шаржем, обезоруживая зависть, Кутюра, казалось, придавал своим произведениям цену импровизированной насмешки, предоставляя новичкам усердствовать и увлекать, сам умел остановиться в разгаре полного успеха, с редкой способностью управляя своим талантом и вдохновением; всего острее он бывал в плохих номерах летом, когда воды и морские купанья делают Париж таким пустым, и маленькие листки такими скучными.

Этот человек с тайной радостью и смеясь про себя, умел прятать свое лицо и надевать маску и так тонко лицемерить, что другие считали его ни во-что; он любил втрапливать Нашета в удовольствия и утомлять его в оргиях, где разыгрывался его темперамент, и откуда Нашет

выходил с тяжелой и пустой головой и сухим горлом, и находить на другой день в газете свою месть, подписанные Нашетом свои удары, свои нескромности, проскользнувшие у него как будто под влиянием вина. Кутюра находил удовольствие считаться как бы эксплуатируемым Нашетом, тогда как он им вертел по своей воле и прикрывался им в тех случаях, когда не хотел выставлять своего имени.

Посредством женщин, которых он ласкал, играя в серьезную с одними, забавляя других, умея приобрести себе повсюду приятелей, он проник в мир лореток; вращаясь в их кругу, он сблизился с банкирами, с богатыми иностранцами, знал все их отношения, находился в сердце этой Капуи, где только миллионер – человек, где золото опьяняет, делает авантюристов и заставляет поддаваться случайностям.

Кутюра спасался от некоторого неуважения, какое дает привычка к этому миру, посещением другого мира, честной буржуазии, куда ему также удалось втереться, и где он играл роль салонного кавалера.

Этот молодой человек одним прыжком втирался в вашу интимность; на завтра он уже был с вами на «ты», и все это с таким увлечением, так мило и так непоследовательно, что вы относились к нему снисходительно. Задевал ли он вас? Он забегал вперед, смеялся над собой и афишировал вашу дружбу. Неутомимый, вертевшийся тут и там, он заводил новые знакомства, разжигал рекламу, не брезгал ничем, пользовался всевозможными средствами, бывал на раутах и на всех балах в *Chaussée d'Antin*, встречал зиму, встречал лето, показывался даже там, где надо прятаться, всегда тут как тут, на проходе других, которые его окликали, узнавали, кланялись ему и указывали на него, Кутюра разрешил невозможную проблему быть европейским человеком в Париже.

Все эти способности, все эти происки Кутюра клонились в одному: он мечтал завести большую газету.

Большая газета, воображаемая Кутюра, была последним словом, высшим развитием маленькой газеты. Увеличив её формат, учетверив рекламы, сделав ежедневной и вечерней газетой, помещая на первой странице беспристрастное резюме политических новостей и краткий обзор утренних газет, а на последней, – подробный биржевой курс, осведомленный и сообщающий о всем, Кутюра избавлял свою большую-маленькую газету от различных ученых, земледельческих, полемических, экономических статей, и наполнял ее парижскими известиями полнее, пикантнее, остроумнее и новее, чем все настоящие и прошлые вестники; затем, предполагались политические известия из Лондона и из всех столиц, чередующиеся с новостями светскими, клубными, из мастерских художников, театральными, биографическими, психологическими, словом, собранием известий почти со всех частей света.

Эту газету, рассчитанную на обширную публику, на всю ту публику, которая в газетах оставляет без внимания серьезные статьи или читает их, чтоб чем-нибудь наверстать свои подписные деньги, по прошествии нескольких лет, когда она сделалась бы важной газетой эпохи, Кутюра намеревался предложить правительству.

Если бы власть досталась какой-нибудь революции, Кутюра сорвал бы маску, придал бы газете определенный колорит и с помощью её занял бы какое-нибудь высокое политическое или финансовое положение. В продолжение двух лет Кутюра работал как крот. Деньги и лица, дающие деньги на предприятие, были готовы, несколько писателей, необходимых для газеты – испытаны. Он завел корреспонденцию со всей Европой. Английские лорды обещали ему сообщать политические тайны. Он напоил до пьяна трех немецких дипломатов, которые не побрезговали злословить по-французски. Актрисы, приглашенные в Петербург, должны были выведать для него все о России. Великолепные итальянские сеньоры обязались поставлять ему статьи об итальянском обществе и театрах. И все это гнездилось в этом человеке под видом шутки, каламбура, фарса, паясничества, гаерства и ребячества.

Мальграс, дядя Мальграс, как его звали, бил человек лет сорока пяти, только и говоривший что о своей жене, его единственной любви, умершей очень молодой, и о детях, оставленных ею, его единственных друзьях. Он болтал о святости домашнего очага, о родительских обязанностях, о фамильной чести, о счастье воспитывать этих маленьких созданий в уважении и любви к виновнику их существования, развивая их добрые инстинкты и первые проблески совести. Его медоточивое и слащавое красноречие походило на речь Робеспьера пропущенную через святую воду. На его языке постоянно вертелись слова: долг человека, социальные обязанности, теория самопожертвования, нравственное достоинство, – и все это холодным тоном, медленно и плавно, голосом ровным и без тембра, который, казалось, исходил из деревянного неба. Когда мораль дяди Мальграса спускалась с неба на землю, он оплакивал легкость нравов, и суетность жизни своих компаньонов по газете. Мальграс прямо говорил о вещах, называя порок своим именем, и доходя до цинизма отцов церкви, но всегда ровным голосом, не сердясь и не волнуясь. В его сладких манерах и приторной вежливости проглядывало презрение квакера, попавшего в шайку хвастунов. Довольный судьбой, счастливый в своей посредственности, строгий к себе и другим, он иногда смеялся при рассказах о различных несчастьях; это был странный смех, внутренний, нервный, бесшумный, который вместе с однообразным и точно мертвым голосом наводил почти ужас.

Кутюра, близко изучивший Мальграса и с любознательностью физиолога отыскивавший Эпиктета в каторжнике, или целомудрие в актрисе, Кутюра находил в этом тартюфстве дьявольскую подкладку, какую г-н де-Мэстр приписывает французской революции. По его мнению, дядя Мальграс в качестве журналиста и человека был редкостью, одним из феноменов, драгоценных для науки, которую они освещают, сбивая ее с толка; если верить Кутюра, Мальграс любил зло за зло. Кутюра объяснял это разочарованиями жизни, его годами и сознанием своего возраста, неудачами тщеславия, заботами о приближающейся необеспеченной старости, подавленными скрытыми страстями, разнузданностью его воображения, нестерпимой робостью перед женщиной, хроническим катаром желудка, который запрещал ему малейшее излишество в питье и в еде, словом, всевозможными бедами, сделавшими из него нечто среднее между желчной старой девой и желчным писателем.

Что касается Бурниша – это был человек, способный сделать из газеты все что угодно. Не было статьи, не было работы, какой бы он не был способен сделать. Он перескакивал от тартинок на водах в Эмсе к разбору стихов, от отчета о скачках в Булонском лесу к отчету об аукционах в отеле Друо, от биографии только что гильотинированного в «утке» в пользу теста Обриль. Сочиняя все, что угодно, пристегиваясь к чужим идеям, вращаясь во всевозможных мирах, он в конце концов потерял способность сознавать свое собственное «я». Бурниш превратился в какой-то поток метафор и забавных подражаний, которые в его разговоре так и сыпались, точно шутки раешника на деревенской ярмарке. Бурниш наивный, добродетельный и легковверный, несмотря на свое ремесло, почти женатый, – так как у него была любовница, готовившаяся быть матерью, – служил предметом постоянных насмешек интимного кружка «Скандала». Его мистифицировали, безжалостно подтрунивали над ним, так что он скоро выучился лягаться, как осел в басне. Потом, оглядевшись, он увидел столько людей, всячески оскорбляемых, что его достоинство утешилось сознанием унижения своего ближнего, так что при каждом щелчке, дававшемся кому-нибудь «Скандалом», Бурниш гордо преисполнялся уважением к себе.

III.

Мелкая пресса была тогда силой. Она стала одним из тех способов владычества, какие внезапно выдвигаются на сцену переменой нравов нации. Она создавала карьеру, положение, влияние, имена, людей, – и почти великих людей. Народившаяся в духе роялистов Ривароля, Шансене, Шамфора, она сперва совсем не имела успеха. «Скандальная хроника», маленький журналец 1789 года, привела своих издателей к банкротству, изгнанию, самоубийству, эшафоту. Их наследники во времена Директории, редакторы «Thé» и «Journal des Dix-huit» не были счастливее. Восемнадцатый фрюктидор сослал в Каейну французскую юмористику. Только во времена Реставрации и при июльском королевстве мелкая пресса начала выходить на дорогу; но это была еще проселочная дорога. Тем, кто попадал на нее, надо было многое: счастье, обстоятельства, ум, презрение к предрассудкам века, и все это для того, чтобы достигнуть анонимной известности. Мелкая пресса того времени, не выходявшая из пределов кафе, публичных заведений, кабинетов для чтения, довольствовавшаяся только своим кругом, не распространялась в публике. Она не проникала вместе с «Constitutionel» в крут буржуа, игнорировалась в семьях, исключена была из домашнего очага. Ничего не прибавляя к литературной личности своих сотрудников, она не могла и обогатить их: в самых ловких руках подписка достигала от 800 до 1200 подписчиков. Но в 1852 году, общественная мысль, внезапно лишенная своих ежедневных волнений, стольких зрелищ и полей битвы, где боролись гнев и восторги, осужденная на молчаливое спокойствие после шумных боев мысли, красноречия, самолюбий, после стычек политических, литературных и артистических партий, собраний и кружков, общественная мысль томилась бездействием. Эта мысль, для которой вся жизнь заключается в лихорадке, и которая постоянно нуждается, как любовница, в ласке и заботах о себе, которая в промежутках между революциями, в антрактах между парламентскими дебатами, спорами из-за школ, столкновениями церковными, вопросами европейского равновесия, ищет себе пищу во всем и хватается за акробатство, сплетни, за сенсационные процессы, за вертящиеся столы; эта мысль Франции в один прекрасный день прицепилась к хвосту собаки Алкивиада! При победе людей и вещей новой власти, воспрещавшей общественному мнению заноситься в выси и в область гроз, все общественное мнение превратилось в любопытство. Все внимание общества сосредоточилось на сплетнях, злословии, клевете, жажде сальных анекдотов, унижении личности, рабской борьбе зависти – одним словом, на всем, что ослабляет честь каждого в сознании всех. При таких условиях мелкая пресса удивительно поддерживалась и поощрялась сообщничеством публики. Она мстила её богам, освобождала от её восторгов. Эти беспардонные насмешки сопровождали малейшее торжество, точно брань античного раба; эти «Облака» бичевали успех всякого дела или имени; эта еженедельная пытка таланта, труда, завоеванного счастья, законной гордости; это побивание камнями слишком продолжительных популярностей, как поступают с стариками у океанских племен; эта схватка самолюбий лакомили Париж радостями Рима и Афин, прелестями остракизма и цирка. Мелкая пресса льстила и щекотала этим одну из самых низменных страстей мелкой буржуазии. Она поощряла нетерпимость к неравенству личностей перед интеллигенцией и репутацией; давала оружие её злобе скрытой, но живучей и глубокой против привилегий мысли. Она утешала зависть и подкрепляла её инстинкты и предрассудки против новой аристократии, в обществах без каст, против аристократии литературы.

Новые элементы, вошедшие в литературный мир за последние десять лет, только помогали процветанию малой прессы. Новая порода умов без предков, без всякого запаса, без отечества, свободных от всяких традиций, появилась в рекламах и гласности. Изображенная в прекрасной книге: «Путешествие вокруг монеты в сто су» одним из своих же, эта богема, погоняемая нуждой, глядела на искусство не так, как предыдущее поколение, люди тридца-

тых годов, из которых почти все, и лучшие из них принадлежали в достаточной буржуазии: современная богема в мечты честолюбия внесла нужды жизни, её потребности задушили её верования. Осужденная на бедствование понижением литературной платы, богема роковым образом кинулась в малую прессу, которая нашла в ней совершенно готовую армию, голодную, оборванную, действующую из-за хлеба. Желчность, голод, досада, встреча с успехом, который проходил мимо, не замечая их, любовницы без косынки, очаг без огня, книга, не находящая издателя, перенесение всего в ломбард, угрожающие долги, придавали богеме страшную ненависть пролетария, и в движении, которое бросило ее к «Скандалу», было нечто похожее на штурм общества и как бы эхо от крика 16-го апреля 1848-го года: «долой перчатки»!

Все таким образом благоприятствовало успеху мелкой прессы, она стала тем, чем хотела быть, – успехом людей, модой, правительством, хорошей аферой. Ее выкрикивали на бульварах, разбирали в кафе, цитировали женщины, читали в провинции. Дохода с её объявлений хватало на то, чтобы сделать её редакторов жирными как каплуны, нашпигованные луидорами. Перед ними все дрожало: автор за свою книгу, музыкант за свою оперу, художник за картину, скульптор за свой мрамор, издатель за свое объявление, водевилист за свое остроумие, театр за сбор, актриса за свою молодость, разбогатевший за свой покой, кокотка за свои доходы...

В этом владычестве мелкой прессы было нечто худшее чем её тирания; оно причинило гораздо большее несчастье высшего порядка, гораздо худшие и более продолжительные последствия. Литературное движение 1830 года во Франции создало большую публику. Оно научило отечество Буало и Вольтера, развивая вкус и гений, переводя Шекспира и Пиндара, жить в мире поэзии, лиризма и фантазии, сделало его аудиторией и своим соучастником в свободной фантазии и прекрасных порывах идеи.

Мелкая пресса понизила этот интеллектуальный уровень. Она понизила публику. Она понизила читающий мир, даже самую литературу, выражая улыбкой Прюдома одобрение вкусам Франции.

IV

Мальграс завладел разговором. Он утопал в многословии, которое было его потребностью. Он говорил об общей посредственности, о второстепенных талантах дня, о дурной нравственности современных произведений.

– Не логично ли это вполне, не есть ли это нечто неизбежно роковое, Бурниш, – один только Бурниш обладал терпением слушать Мальграса, который избирал его постоянной жертвой своего красноречия – да, не фатально ли, что ослабление существенных истин и нравственного порядка, упадок здравомыслия, и забвение принципов влечет за собой ослабление, скажу больше, гибель дара творчества, фантазии? А когда злоупотребление парадоксами, Бурниш, и то, что я называю недостатком уважения к интеллигенции, вкореняется в сердце поколения, каждый раз, как в обществе благоговение к идеям, контролируемым рассудком и поддерживаемым традициями...

– Очень ты был пьян вчера, дядя Мальграс? – прервал его Кутюра.

– Господин Кутюра, – отвечал Мальграс с достоинством, – я вам не давал никакого права обращаться ко мне на «ты»... У меня нет привычки пить.

– Я с тобой говорю на «ты»... с уважением, во-первых; а потом, что ты надоедаешь нам со своими скучными идеями... точно жилы тянешь, право! Бурниш даже посинел, слушая тебя!

– Правда!.. Бурниш!.. Бурниш! Ему сейчас делается дурно.

И Нашет насильно дал понюхать Бурнишу коробку с серными спичками.

– Бурниш, – продолжал Кутюра, – я запрещаю тебе слушать Мальграса! Он тебе все уши прожужжит своим высоким слогом, несчастный!

– Вы все шутите, господин Кутюра, – сказал Мальграс, – но о чем я говорил, однако...

– Темно!.. Совсем темно, дядя Мальграс! – сказал Кутюра, опуская штору у окна, так что в комнате стало совершенно темно.

– Когда вы не будете более молоды...

– Осветим рассуждение.

И Кутюра поднял штору.

– Ты не выносим, Кутюра, со своей шторой! – сказал Молланде, – дай же мне читать!

– Что ты читаешь?

– Четвертое издание книги Бюргарда.

– Знаем мы эти четвертые издания, – проговорил Нашет, – все деньги, вырученные от первого издания, идут на объявления, переходят ко второму, и т. д. ...

– Господа, – сказал Молланде, – Бильбоке, прежде чем умереть в объятиях ангела Рекламы, указал на обетованную землю десятку молодых, которых я не называю...

– Поди сюда, Нашет, – сказал Кутюра, – предположи, что тебя зовут... что ты англичанин, и ты говоришь очень плохо по-французски; предположи, что ты путешествуешь, ища спокойствия сердца; предположи, что ты приезжаешь в гостиницу и что хозяин гостиницы...

– Бурниш, сюда!.. Ты будешь хозяином! предположим, что хозяин спрашивает тебя, чего ты желаешь, и ты говоришь ломая французский язык: *la paix di cûg*; предположи, хозяин понял, что ты спрашиваешь *rédicure*... Молланде, подойди! Ты будешь мозольный оператор... Нет ничего не выходит... Нас мало... Жаль...

– Сколько должно быть? – спросил Бурниш.

– Тридцать девять...

V

Дверь конторы отворилась. Вошел человек высокого роста, худой, с военной осанкой, седой с почти белыми усами, в узких панталонах, с газетами в руках.

– Отлично! – проговорил он, подходя к Мальграсу и мимоходом бросая газеты на стол, – скажите мне пожалуйста, что вы тут делаете?.. Ведь чёрт возьми! Если б меня тут не было! Раз только не сунешь нос в газету...

– Мосье Монбальяр, – тихо сказал Мальграс. Человек в узких панталонах был Монбальяр, издатель «Скандала».

– Целых три дня как приехала итальянская певица, и до сих пор ей не предложено услуг. Это стыдно, честное слово!

Мальграс хотел отвечать: «в будущий отъезд, я...»

– Не торопитесь! Знаете ли вы, господин Мальграс, что газета должна бежать на встречу этим женщинам, и ухаживать за их матерями, при их отъезде? Сколько новой подписки?

– Пять.

– Пять! Только пять, в такой день. Скоро нам придется издавать газету из чести... А что маклеры?

– Ничего, со вчерашнего дня, – проговорил Мальграс.

– Вышвырните их за дверь... А объявления?

– Страница занята.

– Номер готов? Что в нем есть? Передовая статья? Грендю принес свою статью? о родинках Парижа?

– Я не видал, – отвечал Мальграс.

– Грендю? – сказал Молланде, – разве вы не знаете? Он уезжает; он получает шесть тысяч франков в год, чтобы сопровождать на Восток хорошо пожившего молодого человека.

– Это глупо, – проговорил Монбальяр, – он так хорошо пошел, этот Грендю; он разжигал публику... Как! сделаться нянькой!.. А я-то мечтал его вывести на дорогу к славе, он бы вошел в моду, у меня прибавилась бы подписка; я ему было устроил одно дельце с одним славным молодым человеком... Это что? Корректурка?

И Монбальяр взял пакет со стола.

– Да, – отвечал Мальграс, – вот вам весь номер в порядке.

– Плохой номер! – проговорил Монбальяр, перелистывая его. – Это ничего не выражает, ничего не затрагивает... Те, которых задевают в нем, отлично проспят сегодняшнюю ночь!.. А это что за глупость?

– Это стихи, – проговорил Мальграс, – знаменитого поэта... выдержки из его новой книги...

– А, – произнес Монбальяр, – я не прочел...

– Подписи, – проговорил вполголоса Молланде.

– Хорошо, тем хуже! – продолжал Монбальяр не слыша, – будем скромны эту неделю; но за то следующую мы выпустим блестящий номер! Мы низвергнем одного тенора, миллионера, актрису... и одного друга... Мы скажем про тенора, что он жиреет, про миллионера, что у него нет ни гроша, про актрису, что она старшая сестра своей матери. про друга, что мы его не знаем. Ты займешься этим, Нашет.

– Читали вы эту статью? – обратился Молланде к Монбальяру, – они вас жестоко язвят.

– Да, это один мальчик, желающий попасть к нам.

– Все же он ловко вас поддел, Монбальяр, – возразил Нашет.

Монбальяр пожал плечами.

– Пускай себе кричат. Я делаю свое дело. Ведь я плачу вам? И даже дороже, чем следует. Тогда что же? Зачем мы говорим о кокотках? А публика не говорит о них?.. Зачем мы критикуем все без разбора? А публика не критикует так же. Я освистываю тех, кого освистывают другие; тех, которые пользуются успехом, я муссирую. Мы не газета, мы – барометр. Никаких школ, никаких партий, никакой котерии; полное беспристрастие!.. Мы – публика, вот что мы такое! Или вы думаете, что публика, бросившая венок иммортелей мадемуазель Марс, поступила по-джентльменски? Она перехитрила немного даже «Скандал»!.. Скажут, что мы отбиваем хлеб от этих крикунов! Смеюсь над этим!.. И все это из-за каких-то шести сот несчастных подписчиков, которых они собрали чуть ли не силой!..

VI

Милостивые государи, – проговорил красавец собой, молодой человек, входя, – ваш слуга. Мое почтение собранию великих людей!

– Флориссак!

– Мы думали, ты умер!

– Дядя Мальграс уверял, что ты умер в своих владениях... в Блиши!..

– Фи! – воскликнул Флориссак, – я готов драться на дуэли в подтверждение того, что отлично себя чувствую.

– Так, значит, ты путешествовал вокруг света?

– Или вокруг самого себя, это гораздо дольше, – и Флориссак развалился на диване; освященный солнцем, с закинутой головой, с белокурыми волосами, которые как бы утопали в солнечном свете, он походил на Эндимиона.

– Что с тобой, Флориссак?

– Со мной? Ничего. Мне кажется, у меня сегодня меньше гения, чем вчера.

– Скажи же, дружок, – проговорил Монбальяр, – что новенького в свете?

– Ничего нет нового, кроме ново-отделанных шляп и новой совести... Солнце продолжает освещать мир. Это светило пользуется, право, странной долговечностью; оно походит на наших родителей.

– Говори за себя, Флориссак, – сказал Кутюра резким голосом. – Ты знаешь, я не люблю таких разговоров!

– Умолкаю: я уважаю все мнения, даже свои собственные.

– Да ну же, Флориссак, – снова заговорил Монбальяр, – ты должен знать кучу новостей...

– Я? Все что хотите! Со вчерашнего дня в моде зеленые платья с черным и зеленым бархатом... На Montagnes Eusses госпоже *** представили счет в сорок тысяч франков. Муж её в восторге, он боялся, что у неё совсем нет долгов. Нет, правда, вы воображаете, что я много знаю?

– А разве нет? – проговорил Монбальяр.

– Милый мой, вы, кажется, думаете, что я родился на палатах, в болотистом Валлийском кантоне, от тамошнего уроженца с зобом и привратницы? Флориссак, что ты знаешь? И я вам буду даром показывать изнанку карт, оборотную сторону великих людей, открывать альковы, выворачивать на изнанку халаты, злослыничать, заглядывать в замочные скважины и выведывать тайны Полишинеля! По теперешней публике, это все равно, что наличные деньги! Ах, если бы я не писал своих мемуаров...

– Ба! Вот забавно! Ты пишешь мемуары? Пожалуйста, покажи их нам!..

– Забавно, как совет ревизии! Я в них разоблачаю более народу, чем могу.

– У него всегда острота на языке, – сказал Монбальяр, принявшись писать.

– Милый мой, только один народ умеет делать бритвы и издавать газеты. Вот здесь болтают, рассказывают, собирают справки... В Лондоне человек, получающий жалованье, какое у нас идет префекту, просто приходит поболтать в редакцию газеты от 4 ч. до 5; он приносит материал, идеи, остроты, новости, словом все, что ты стараешься украсть у всякого встречного.

– Почему же ты не подражаешь?

– Милый мой, я смотрю на литературу, как на насильственное правление, которое держится только крайними мерами... А затем, желаю вам покойной ночи, – и Флориссак развалился на диване.

– Ты будешь спать? Какая глупость, – сказал Бурниш.

– Спать – глупость?!.. Бурниш, ты не умеешь жить!

– Если ты будешь спать, я прочту тебе завтрашний номер, – сказал Кутюра.

– Я его читал вчера... Я уверен, м-сьё Мальграс, что вы не воображаете, что я могу сделать глупость большую чем другие?.

– Я не из нескромных, м-сьё Флориссак.

– М-сьё Мальграс, в своей жизни я написал одну статью...

– «Последняя мысль жирного быка», – сказал Молланде.

– Да. Она была великолепна. Я был... одним словом, я был автором «Последней мысли жирного быка». Но люди несовершенны. Я имел глупость написать вторую статью... Бурниш, знаешь ли ты, к чему ведет вторая статья? К третьей, мой друг!.. Ах, я лишился прекрасного будущего!.. Потомство скажет обо мне: это был ремесленник!.. Однако, я вам сказал, что я из Неаполя? Вы не знаете? Я влюблен как гитара!.. В итальянскую танцовщицу... она немка... Я привез ее с собой. Ах, вы не можете себе представить, что такое багаж танцовщицы! Двенадцать дюжин туфель, ребенок... Был момент, когда она хотела привезти и мужа!

– А ты кто? – спросил Нашет.

– Я собираюсь быть любовником: я целую на шее ребенка местечко, где были её поцелуи.

– Что вы будете делать в тридцать лет, м-сьё Флориссак? – произнес с ударением Мальграс.

– О, я отлично сохранюсь, – отвечал Флориссак, играя кистью подушки на диване.

VII

– А! Поммажо!.. Господа, настоящий светский Поммажо! – вдруг закричал Кутюра, увидав маленького человечка, довольно потертого, входившего в контору, подняв свою голову, точно святые дары.

Этого человечка сопровождал верзила-парень, длинный и худой, во всем существе которого, начиная с шляпы и кончая сапогами, проглядывало что-то ужасно жалкое и вместе с тем глубоко убежденное.

– Да здравствует Поммажо! Реализм был в Поммажо и Поммажо в реализме! Долой фразы! Сожжем поэтов! Да здравствует Поммажо! Поммажо, сын истины! Затмивший Бальзака! Этот господин твой друг? Это видно! Господа! Поммажо и его друг, Бог и его народ, так начинается Библия. Увенчаемся прозой и выполним эластические позы!

И Кутюра, танцуя, вертелся вокруг Поммажо...

– Ты кончил? – сказал Поммажо, и отстранив Кутюра, подошел к Монбальяру:

– Монбальяр, представляю вам человека будущего... мой друг Супарден.

Супарден поклонился спине Поммажо.

– Он принес вам маленькую новеллу. Я читал ее: это глубоко изученная вещь!.. Очень хорошо написана!

– Гм, гм! Новелла, это нам не подходит. А что это такое?

– «Любовные похождения подателя святой воды». Супарден знал их троих и все списал с натуры. Вы увидите, – сказал Поммажо, кладя рукопись рядом с Монбальяром.

– Если это вам не годится, он может написать что-нибудь другое: хотите, он принесет вам целую серию статей о фантазерах?

– Господин Супарден, – сказал Флориссак, вполтину повертываясь на диване и открывая один глаз, – я автор «Последней мысли жирного быка». Я пришлю вам своих секундантов.

Супарден остался недвижим. Он разглядывал воротник сюртука Поммажо.

– Сколько хочешь, – сказал Монбальяр, обращаясь к Поммажо, – ты знаешь, у меня нет литературных мнений.

– Есть у вас место в воскресном номере?

– Ты глуп! Место всегда есть... Зачем тебе?

– Вы меня через-чур поддели в прошлое воскресенье, знаете ли вы это?

– Я?.. Ах, да, это Шоз написал уже в типографии... Я не проглядывал... Я сказал ему.

– Дело в том, что я принес письмо в ответ и...

– Один столбец... Хорошо, – сказал Монбальяр, – я для тебя оставлю столбец.

– Ах, – вздохнул Поммажо.

– Не воображай, что я позволяю нападать на людей твоего таланта только для удовольствия уколоть!.. Ответ на нападки, да это лучшая статья журналиста! Он ее сглаживает, старается... и она всегда удается!.. И потом, платит не надо, понимаешь? О, я знаю как вести газету!.. Чёрт возьми, – прибавил он, пробегая глазами статью, – твой ответ это целый трактат о принципах. «Время воображения прошло», в «Судебной Газете» больше поэзии, чем у Гомера... «Стиль – вещь условная...»

– Что если он думает все это, – сказал Кутюра Бурнишу, – что если он думает? Пожалуй, он на это способен... Поммажо, неправда ли, ты думаешь...

– Я думаю, – произнес Поммажо оживляясь, – что всему этому ложному романтизму конец, я думаю, публике довольно сладких фраз; думаю, что поэзия есть бурчание живота; думаю, что любители словечек и эпитетов искажают национальный мозг; я думаю, что истина есть истина и все обнаженное есть искусство; что дагеротипные портреты походят...

– Это парадокс! – крикнул Флориссак.

– Я думаю, что не надо писать, вот!.. Я думаю, что Гюго и другие только испортили роман, истинный роман, роман Ретиф де-ла-Бретона, да! Я думаю, что надо засучить рукава и порыться в швейцарских и в идиотизме наших буржуа: талантливый писатель найдет там для себя новый мир; я думаю, что гений – это стенографическая память... я думаю... я думаю... вот что я думаю. Очень жаль, если это кому-нибудь не нравится.

И Поммажо сделал презрительный жест, который Супарден повторил за его спиной.

– Он говорит, как одна из его книг, – сказал Флориссак.

– Ах, знаешь, Нашет, – сказал Монбальяр, – я у тебя выкину двадцать строк.

– Скажите пожалуйста, вы только это и делаете! Вы мои статьи принимаете за ничто; это меня раздражает наконец! Потому что я прошлую неделю не протестовал... Что же будет на этот раз в газете?

– Во-первых, передовая статья Демальи...

– Это продолжение? Вот скучища-то! Статьями Демальи занимают публику!

– Все же ты ни за что не напишешь такой статьи, как его «Парижский порок...» Когда он выдохнется, будь покоен... Хотите я вам скажу правду: он вам мешает.

– Мне? – сказал Флориссак, – я не читаю его.

– Талант дилетанта, – проговорил Молланде.

– Он не знает французского языка, – сказал Нашет.

– Дело в том, – сказал Бурниш, – что у него есть изречения...

– Авторские изречения, – засмеялся Кутюра, – это правда, его слог напичкан авторскими изречениями.

– Он мог бы заняться чем-нибудь другим вместо литературы, – прошипел Мальграс в сторону.

– Ваш Демальи! – сказал Поммажо, – но все говорят, что у него ничего более нет, он весь выдохся.

VIII

– Вы говорили обо мне? – сказал Шарль Демальи, входя ни кем незамеченный. – В другой раз я кашляну при входе; так, по крайней мере, можно быть уверенным, что женщину застаешь одну и не услышишь похвалы друзей. На чем вы остановились? Продолжайте пожалуйста, не стесняйтесь! Смейтесь! Что вы говорили? Что я идиот, кретин, скотина... Но мы только и делаем, что говорим друг другу подобные комплименты!.. за глаза. Я знаю, где я: редакция мелкой газеты... и лакейская не конкурируют для академических речей. Да, я пишу в газеты... я пишу статьи и острою – я играю на органе и на кларнете... Есть вещи, которые я подписываю: подписывая их, я знаю, что в них меньше безнравственности, чем в воздушном пироге... Самое низкое ремесло, друзья мои! Вы совершенно правы; моя совесть уже давно мне твердит об этом; вы ей вторите, я вам очень благодарен. Чёрт возьми! Неужели вы думаете, я дошел до этого сразу?.. Я уже достиг лет, когда играют трагедии в Одеоне. Я хотел сидеть в своем углу, написать книгу... У меня были иллюзии, идеи... Скажите пожалуйста, вы меня принимаете за писателя? Полноте, я извозчичья лошадь! Коснитесь их, друзья мои, – и Шарль протянул обе руки, – коснитесь их, вы стоите меня!

– Милый мой...

– Но, Демальи...

– Уверяю тебя!..

– Кто? Ты? Ты, Флориссак? Но что же ты сделал? Долги, остроты и веревочные лестницы... Ты написал один роман в своей жизни, отлично, только я люблю больше Фоблаза! Ты, Нашет? А какие заслуги за тобой? Статьи; а перед тобой? Статьи!.. Только потому, что ты делаешь все, что касается твоего ремесла, нельзя быть таким строгим. Ты? несчастный – и Шарль повернулся в Поммажо, – прошлый раз я тебя изобразил великим человеком!.. Да, я бил в барабан перед твоими произведениями, чтобы посмотреть, сколько может собрать дураков такой парад... Их столько, сколько тебе нужно, друг мой!

– Чёрт возьми! – сказал Монбальяр, – вместо того, чтобы поместить все это в газету!

– Ты теряешь пять копеек за строку, – сказал Флориссак, поворачиваясь на диване.

– Правда, – сказал Шарль, – я глупец.

– Пойдем, – сказал Поммажо Супардену и оба как один человек с достоинством вышли.

– Право, – громко сказал Шарль, говоря сам с собою, когда Поммажо вышел, – я почти жалею, что сказал ему правду; он, по крайней мере, работает и верит.

– Вот как! – сказал Молланде, просматривая театральный листок, – в провинции открыли праправнучку Расина, умирающую с голода.

– Вот кому должна Comédie-Française, – сказал Нашет, – как наследнице прав автора...

– Поставить могилу, – прервал Шарль.

– Передай мне газету, Молланде, – сказал Монбальяр. – Перепишите этот абзац, Мальграс... В неделю, когда номер будет неинтересный, мы откроем подписку... это всегда помогает. Скажите пожалуйста, из вас никто не бывает в свете? Это ужасно! Мне бы надо было иметь известия о балах, вечерах, концертах; это придает порядочность газете... Хоть вы, Демальи, у вас чистая сорочка...

– Я? Ах, вы удачно попали! Во-первых, «свет», как вы знаете, выдумка Эженя Гино...

Не договорив, Шарль взял со стола какую-то книгу, потом бросил.

– Как это надоело! Нельзя сделать шага, чтобы не слышать нападок на банкиров! Денежный человек становится «Кассандром» комедий и газет... Чёрт возьми! Есть дураки, у которых нет ни гроша! И притом я нахожу, во Франции чересчур выезжают на миллионе.

– Кто видел дворец нашего знаменитого водевилиста Вудене? – провозгласил Кутюра.

– Где? – спросил Молланде.

– В Пасси.

– Я видел его. Он очень хорош... – сказал Монбальяр, и направился в свои комнаты.

– Хотел бы ты иметь такой парк? – обратился Кутюра к Шарлю.

– Мне так много не нужно, – отвечал Шарль. – Когда я захочу, я могу быть счастливым и в маленьком садике, посередине у меня будет посажена огромная тыква, под зонтиком больших листьев, со своим зеленым стволом, свернутым как трубка паши, сидящего с поджатыми ногами; я обожаю тыкву. У меня будет вода, налитая в половину бочки, на воде будут расти маленькие зеленые чечевицы, между которыми будут скакать и нырять лягушки... У колодца будет мечтать цапля на одной ноге... Затем я буду держать обезьяну на веревке, обезьяну, которая кривляется и гримасничает... Я куплю, понимаешь, луч солнца для моего маленького мирка. Еще у меня будет гонг... Это будет рай... Я буду благоговейно взирать на свою тыкву; цапля будет думать, как немецкая книга; я брошу камень, все лягушки бросятся в кадку; я хлопая свою обезьяну, и ударом ноги подымаю все звуки гонга, то ласкающие, как смешанный гул толпы, как звон набата, как глухой шум мостовых просыпающейся столицы... то вдруг раздадутся гремящие и ревущие звуки... Ты уже видел гонг: дно кастрюли, куда Юпитер прячет свои громы.

Проговорив это, Шарль взялся за шляпу.

– Ты уходишь? – спросил Молланде.

– Да, у меня есть дело.

– Дело в том, что я сегодня неожиданно разбогател, – сказал Молланде, – благодаря одному великодушному человеку, известному своей щедростью; поэтому имею честь звать вас всех пообедать... Нет, серьезно, одному издателю пришла фантазия издать отдельной книгой мои статьи!.. И если почтенное собрание позволит мне предложить ему сегодня скромный праздник... Вы придете, Демальи?

– Хорошо.

– А вы, Мальграс?

– Я в отчаянии, м-сье Молланде... Я обедаю сегодня с моими детьми... каждую субботу... я ни разу не пропустил еще, ни разу!

– А что ты хочешь сделать из твоих детей, Мальграс? – спросил Флориссак.

– Честных людей, если смогу, м-сье Флориссак.

– Тебе нужна будет протекция.

– А ты, Бурниш?

– Невозможно, совершенно невозможно...

– Ну, – сказал Молланде, – кто придет, придет, а кто не придет...

И он вышел.

– Господа, – сказал Бурниш, – идем сегодня к госпоже де-Мардонне?

– Ах, правда! Да... да... – слышались голоса.

В редакции остались Мальграс, Бурниш и Флориссак.

– Дрянной народ! господин Бурниш, – и Мальграс подавил вздох. – Боже мой! молодость, я не говорю... все бывают молоды... я тоже был... молодость, это хорошо. Но потерять чувство сознания долга... Что такое, м-сье Флориссак? – сказал Мальграс Флориссаку, который, наклонившись, говорил ему что-то на ухо.

– Дядя Мальграс, нет ли одного... для меня?

– Одного... чего?

– Луидора... в кассе. Потому что нечего и говорить... Если я не пошлю букета к семи часам... я пропащий человек.

– Я получил приказание от господина Монбальяра приостановить авансы.

Флориссак проглотил ответ, не сморгнув. Он отошел, взял с каминной полки наполовину разрезанную и открыл ее:

– Подумаешь, есть еще люди, пишущие книги!.. Манюрель... не знаю такого!.. Дядя Мальграс! хотите знать мое мнение об этой книге?

Флориссак зевнул. Затем взял свою шляпу и ушел.

– Отсутствие нравственного чувства, господин Бурниш, – сказал Мальграс, – отсутствие нравственного чувства!

IX

На высотах Монмартрского предместья процветает некий торговец вином. Пройдите контору, толкните стеклянную дверь задней комнаты, где извозчики играют в пикет, взойдите по витой лестнице в зало первого этажа: там виноторговец устроил нечто вроде табль-д'ота в тридцать пять су с персоны.

Обед кончался. Виноторговец, принесший сыр, сам обирал тарелки, обед кончался, наступал час кофе и коньяка. Виноторговец, завитой, улыбающийся, разрывался на части, бегал, приказывал, прислуживал, поднимал брошенные зубочистки, и находил еще время болтать со своими гостями, чтобы заставить их раскошелиться. Облокотившись на круглый стол, у окон, немая группа обедающих ждала игры в домино. Напротив у стены трое непризнанных авторов и какой-то неведомый великий человек жарко спорили о критериях красоты. От одного стула в другому подходила, протягивая свою морду, тощая собака, принадлежавшая кому-то из посетителей. Несколько лореток, положив локти на колени и закурив папироски, сообща приводили в известность свои ресурсы, чтобы заказать себе кофе с ромом, тогда как в другом углу две любовницы писателей читали произведения своих любовников, делая невозможные ударения.

Нашет, Бурниш, Молланде сидели на первых местах за столом и требовали то того, то другого.

– Еще такого же, – кричал Молланде, показывая бутылку коргонского.

– Это отличное вино... – И Молланде передал бутылку далее, сперва дамам. – Извините, сударь, – произнес он, наполняя стакан своему соседу, могу я быть несколько нескромным?

– Пожалуйста, – проговорил сосед, опоражнивая стакан.

– Вы никогда не спрашиваете себе десерта и вас зовут Илья Берте; в каком журнале вы пишете?

– Я писец...

– Прекрасная должность...

– Да, от нас требуются только лень и исправность.

– Ха, ха! Вы острите.... Позвольте, я посмотрю, может быть, у вас ухо водевилиста?

– Но....

– Ухо есть нравственная физиономия человека, вы этого не знали? Наполеон, который знал людей, брал всегда своих ворчунов за ухо.... Посмотрите Гоберта в цирке... Это по традиции. А у меня? У меня ухо добряка... Нос у меня, – нос Молланде блестел в эту минуту, – нос у меня, чувственный, т. е. он воспринимает все ощущения... А глаза мои... глаза мои выражают очень многое... Сударь, если я когда-нибудь сделаю литературную карьеру, буду иметь семью, – тут голос Молланде задрожал от волнения, – когда я буду в состоянии сказать: садитесь сюда, милый зять, глаза мои будут выражать гордость... Еще вина! Ага, вот и Демальи!

Х

Демальи и Нашет вместе вышли на улицу; проходя мимо пивной, откуда слышался шум голосов, Нашет сказал:

– Зайдем сюда на минутку, мне надо сказать несколько слов маленькому Рюбену... Он должен расхвалить меня в своей статье, воспроизвести мои остроты; мне надоело получать три копейки за строку: пора уже перейти на пять.

По середине комнаты образовалось целое собрание. Поздравляли постоянного посетителя пивной, только что получившего орден; он принимал поздравлений со снисходительной улыбкой и глубоким достоинством. В углу, совершенно один, перед кружкой баварского пива, погруженный в блаженное состояние бонзы, сидел рисовальщик Жиру, которого Демальи не раз хвалил в «Скандале», как талантливого рисовальщика, прекрасно изображающего парижские нравы. Демальи уселся рядом с ним, в то время, как Нашет обделывал свои дела.

– А! Это вы, мой милый?.. Сколько лет, сколько зим!.. – проговорил Жиру. – Отличное пиво!.. Я ужасно устал... проработал двенадцать часов... встал рано по старой привычке; прежде я вставал рано, чтобы первым увидеть на выставке в окнах литографию Гаварни... Милейший, приходите к Рампоно... мы там обедаем... в отдельной комнате... я, видите ли, не выношу этих позолоченных кабаков... с обделыванием всякого рода делишек. Да... двенадцать часов! А? И каждый день? Чертовская жизнь! Грязный журнал; есть одна скотина в этом журнале. Он все хочет поставить глаза моим фигурам на втором плане, этот сумасшедший! Пиво хорошо!.. Одни говорят, будто я бешеный. Я должен был ходить туда некоторое время... я знаю... Чёрт возьми! только и есть что парижская мостовая!.. Еще кружку!.. А, вы уже уходите?

XI

Они очутились против большого книжного магазина на бульваре.

– Зайдем, возьмем «Presse», – сказал Нашет Демальи.

Книжный магазин был полон молодыми англичанками в шляпах à la Pamela, с вуалями цвета увядших листьев, выбиравшими себе книги наугад, по заглавиям.

Служащие, собравшись у конторы, болтали между собою.

Маленький черный человечек, живой и беспокойный, попевал всюду.

– Добрый вечер, господа, – проговорил он, – дело сделано, вы знаете... мы совершаем переворот в книжной торговле... книга проникает всюду!.. В мастерскую, в хижину... всюду! Это настоящая революция! Де-Жирарден произвел ее в журналистике, мы делаем ее в книжной торговле... Библиотека Шарпантье, по франку за том, это остроумно, не правда ли? Это заставляет вас читать! Это ведь также и ваше дело: вы должны поддержать нас...

– Наше дело? – сказал Демальи, – извините! Как, в то время, когда самая дорогая плата за том Шарпантье – четыреста франков, когда известнейшие имена, лучшие таланты, даже знаменитые члены Академии не выручают и тридцати сантимов за проданный экземпляр своих книг, когда том in-octavo при наилучших условиях приносит около тысячи франков за продажу полторы тысячи экземпляров; когда литературный заработок так ничтожен, вы хотите еще понизить его!..

– Мы не понижаем цен, напротив...

– Вы никогда не уверите меня, – возразил Демальи, – что, продавая книгу за один франк, вы будете платить за нее, как в 1830-м году, когда тоже самое произведение составляло два тома in-octavo, и продавалось за пятнадцать франков... Сократите только два тома в один, как это делает спекуляция Шарпантье, и вы понизите плату, это неизбежно... Вы говорили мне о журналистике! А разве журнал не понизил цены на редакцию с тех пор, как подписная плата с восьмидесяти франков упала до сорока? Элементарный принцип в интеллигентной коммерции: всякое понижение товара идет в ущерб производителю. Потому что, заметьте себе хорошенько, издатель платит автору не с общей суммы прибыли на издание, а только часть прибыли с каждой проданной книги. Таким образом, когда вы заключаете условие с писателем и говорите ему: «мы получаем пользы всего два су с экземпляра», понятно, что эти два су будут служить основанием вашего договора, а не общий итог двух су, умноженный на число экземпляров, каково бы оно ни было. Теперь еще вопрос: вы воображаете, что тотчас же создадите публику, покупающую ваши книги, постоянную и увеличивающуюся публику, солидную и прочную клиентуру, на которую ваша коллекция может рассчитывать в продолжение двух, пяти, десяти лет? Куда же девалась эта публика, бросающаяся на иллюстрированные издания, на выпуски в двадцать, в пятьдесят сантимов? Неизвестно... Рекламами и вашими обширными книготорговыми сношениями, премиями комиссионерам, вы, может быть, искусственно овладете публикой, которая бросится на ваши первые тома. Это будет успех воздушных шаров, а затем? Затем, когда явится конкуренция сотен тысяч таких книг? Когда наступит пресыщение?.. Что вы будете делать тогда? Но это касается вас... А для нас-то какая выгода? Ваша спекуляция хороша только с новыми книгами, с восходящими светилами... Вам надо продать семь тысяч экземпляров, чтобы покрыть ваши издержки. Вы попробуете издавать новых авторов, и никогда не достигнете семи тысяч; после двух или трех проб вы обратитесь к старым, заслуженным именам, одним словом, к перепечаткам прежних авторов. Книги с молодым еще успехом вы перестанете издавать. Для книги, пущенной в продажу за три, за пять, франков условия всегда окажутся лучшими, чем для книги пущенной в продажу за один франк, хотя бы она нашла двадцать тысяч покупателей... а молодых людей, второстепенных талантов, этого многочисленного класса и все же почтенного, вы их совершенно убиваете вашим изданием в один

франк! Вы их не издаете и мешаете им продавать книгу за три франка. Вы знаете лучше меня, что не все способны выдержать продажу в семь тысяч... и... Впрочем, я нисколько не удивился бы, если через четыре или пять лет снова вернутся к *in-octavo*.

– Я вижу, господин Демальи, вы не совсем поняли суть нашей операции, – произнес маленький человечек огорченным тоном, и обратился к Нашету: – Нашет, надеюсь, вы дадите нам томик?

– У меня ничего нет, – отвечал Нашет.

– Как ничего? Полноте! Всегда имеется хоть заглавие какое-нибудь.

– Заглавие, заглавие! У меня даже и заглавия нет...

– Тогда приходите завтра... У меня есть список заглавий; вы выберете...

– А как же сюжет?

– Сюжет?.. У меня есть также список и сюжетов!..

Демальи проговорил про себя: – я читал нечто подобное, но не верил этому...

XII

В улице Мулэн, пройдя аллею, Нашет остановился у двери комнаты привратника, достал из форточки свой ключ и медный подсвечник, зажег свечу и мимоходом спросил сонного привратника.

– У вас ничего нет для меня?

Затем они поднялись наверх.

– Ты ждешь чего-нибудь? – спросил Шарль.

– Да, – сказал Нашет, – я жду того, что приходит не часто: будущего! А, вот и ты! – переменил он тон на насмешливый при виде молодого человека, спускавшегося с лестницы.

– Я от тебя, – произнес тот.

– Так пойдем назад... выкуришь трубку и почишишь мне платье! – И Нашет, повернувшись к Шарлю и указывая ему на молодого человека, произнес: Милейший, представляю тебе этого господина... Я бы сказал тебе его имя, да у него нет его!.. Идем же, Перраш! Этот господин – бурсак, с твоего позволения, который имел дерзость родиться в моем отечестве... и который говорит мне ты под предлогом, что и я говорю ему ты... У него есть полоса в спинном мозгу... Он двадцатым у одного банкира и девяносто восьмым у одной актрисы из Folies Nouvelles... Он мне говорил, что умеет читать, это молодой человек, полный иллюзии!.. И друг десяти луидоров, неправда ли, Перраш?

– К твоим услугам, – сказал Перраш, – я шел пригласить тебя...

– Обедать? Опять? Ну, мой милый, это дурная привычка! Ты приводишь нас в какую-то трущобу, в Maison d'or, и за десертом еще позволяешь себе высказывать свои мнения! Чёрт возьми! Кто хочет тереться около нас, должен молчать и всячески угождать!.. Жиго де шеврейль не достаточно, чтоб вызвать уважение к бурсаку. Ты воображаешь, что известный писатель согласится быть знакомым с тобой за такой обед, как твой последний обед!.. Не было трюфелей в салфетке, – строго сказал Нашет, пережевывая волокно вареной говядины, попавшее ему между зубами за обедом. Так говоря, он отпер дверь своей комнаты, жалкой комнаты, меблированной по случаю. Единственное кресло было со сломанной ручкой, плохо приклеенной. Зубная щетка была засунута между зеркалом камина и стеной.

– Ага, – сказал Нашет, заметив, что Демальи разглядывает, – тут нет булевской мебели! – и улыбнулся принужденно.

– Все здоровы твои? – спросил Перраш, – семья твоя!

– Семья? – сказал Нашет, – с ней все кончено!

– Полно, мой милый, – попробовал сказать Демальи.

– С ней все кончено! – повторил Нашет, роясь в ящиках и оживляясь в этих нервных поисках в полном беспорядке. – Тебе хорошо, твои родители сделали тебе красивую голову... ты большего роста... тебе идет твоя улыбка... Тебе дали звучное имя. Ты имеешь вид почти благородства, женщины любят это... Они тебе оставили кое-что... ты можешь не сделать подлости... Вот что они для тебя сделали! А мои родители! Оставили мне рваную сорочку! Они создали меня мешком! Меня боятся; у меня ногти, точно у обойщика, а руки!.. Я могу ладонью прикрыть ступню. Они меня оставили без гроша... мои родители... они меня поместили в коллегию в платье, сделанном из старого бильярдного сукна. Ты!.. ты совсем другое дело! Такие родители! Ты можешь воздвигнуть им мавзолей в своей памяти!.. Пойдем... Перраш, теперь ты можешь оставить нас: еще встретит кто-нибудь!

XIII

– На чем остановились, Жозеф? – спросил Нашет лакея, снимавшего ему пальто с фамильярной услужливостью.

– Только что пели, теперь кончилось! Пела эта девица с мужским голосом, про которую господин Кутюра говорит, что её голос ни в мать, ни в отца.

– А Кутюра здесь?

– Да, сударь, и все эти господа... Вы не забудете меня, господин?.. – И Жозеф положил свою руку на руку Нашета, желая застегнуть ему перчатки, – относительно билетов в театр... все равно где... О, когда я в театре, мне все равно...

– С одним условием, Жозеф: вы будете свистать.

– О, сударь, с даровым билетом!

– Дурак, – проговорил Нашет, входя с Демальи. Оба направились к хозяйке дома.

Госпоже де-Мардоне было сорок лет. От её молодости у неё остались только великолепные плечи и чудесные белокурые волосы, которые не поредели еще.

Все относительно стусевалось в неумолимой полноте, которая разворачивается в сорокалетний возраст, и которую напрасно старается умирить корсет. её красота походила на засыпанный город, надо было ориентироваться, чтобы отыскать, где начинается её талия.

Каждую минуту кровь бросалась в голову госпоже де-Мардоне. её глаза, голубой, легкий и глубокий цвет которых принял с годами сухость и кислоту фаянса, еще играли и кокетничали как в двадцать лет.

Госпожа де-Мардоне была автором целой серии произведений, написанных для славы и на пользу женщины: маленькие трактаты, маленькие катехизисы, кодекс, правила, школа и воспитание воображения женщины, её мечтаний, нравственной религиозности, нечто вроде душевного спутника сентиментальности, написанного в стиле «ad hoc», многословном, нежном и упорном, с примесью влияния m-me де-Женлис и св. Терезы, возвышенным мистической чувствительностью и некоторой долей квиетизма. Эти книги госпожи де-Мардоне имели сбыт дурной книги или политической брошюры без имени автора.

Франция и Европа воспитали на них своих дочерей. Этот успех, удачная продажа и премии, почти ежегодно присуждаемые ей Институтом в отделе премий за «Произведения полезные нравам», приносили ей достаточно дохода, чтобы иметь очень хорошенькую квартирку в бельэтаже и давать вечера каждый четверг. Эти четверги составляли важную сторону жизни госпожи де-Мардоне. Если она и тратилась на них, зато они способствовали её влиянию, её известности и распространению её книг.

Госпожа де-Мардоне, не подымаясь, à l'anglaise пожала руки вошедшим, и снова обратилась к господину с желтыми баками, которому она предлагала издать киту о воспитании дев XVII века, исправленную и дополненную, приспособленную ко всяким щекотливым и неведомым нуждам, ко всяким новым и законным вожелениям, ко всякому развитию, ко всяким социальным потребностям, а также и к психическому развитию современной молодой девушки, девушки XIX века.

Концерт только что кончился. Мужчины и женщины группами болтали в разных углах большего и маленького салона. Там и сям слышался то серьезный разговор, то интимная болтовня, прерываемая игрою веера. Шептанье особняком доносилось отовсюду, ибо в этом салоне госпожи де-Мардоне не было того официального общества, где мужчины стоят по одну сторону, дамы сидят по другую и где какой-нибудь более смелый мужчина вдруг решится подойти к даме, скажет ей свысока две-три фразы в-упор и стремительно уйдет в свои черные одежды, как герой, при общем молчаливом восхищении. Тут всякий чувствовал себя как дома, и никто, даже мужчины, не были стесняемы своим полом; ни одной женщины, даже моло-

дых девушек не стесняли их года; в салоне царило увлечение, дружеская любезность и общительная свобода, придающая отношениям и общественным удовольствиям особую прелесть и создающую род женщин, которых принято называть *femmes gâtées*; оставаясь женщинами, они вместе с тем умеют быть товарищами и приятелями, и по своему прямодушию чуждаясь условностей, лганья, мелочности, жеманности, ломанья и предрассудков своего пола, они говорят что думают, смеются, когда хотят, принимают позы, которые им идут, и даже дуракам кажутся такими, каковы они есть. Честный буржуа, попавши сюда с своей дочерью, был бы страшно возмущен живостью их смеха, фамильярностью, непринужденными позами, свободой жестов, тона, словом, тысячью мелочей, строго воспрещенных традициями и воспитанием семьи. А между тем этот мир, несмотря на свое наружное легкомыслие, в сущности стоит того буржуазного мира, где молодые девушки отвечают только «да» и «нет», и где женщины танцуют только с тем, с кем позволят им мужья; если взвесить ошибки того и другого мира, еще неизвестно, какая сторона перетянет. Такой салон, быть может, единственный, где писатель может акклиматизироваться. Освободясь от вымысла и фантазий своих произведений, он хочет коснуться земли, встретить женщин без крыльев, веселые и снисходительные умы. Ему нужна свобода слова для отдыха от своего воображения. Комедия заученных приличий, этот буржуазный *sant*, ему надоедает, как менует; он чувствует отвращение ко лжи, пуризму и наивности общества, которое возмущает в нем совесть автора и самолюбие наблюдателя. Не имея ни желанья, ни времени говорить и делать любезности, он предоставляет другим всю зиму обивать пороги хорошеньких женщин, чтоб как-нибудь добиться разговора с ними; а так как и общество для него служит только местом для обмена мыслей, то он требует от женщины, находящейся в салоне, непринужденной болтовни двух случайно встретившихся людей.

Женщины, бывавшие у госпожи де-Мардоне, удовлетворяли всем этим требованиям писателя, который не прочь надеть фрак и перчатки. Будучи все, или почти все женами писателей, музыкантов, артистов, они обладали добродушием, резвостью и живостью мальчиков. Вращаясь в кругу интересов своих мужей, их технического языка, их друзей, они бы удивили иностранца, говоря прекрасно по-французски с чисто парижскими выражениями. Время от времени, их арго одним словом освещало закулисную жизнь их мастерских, их редакций журналов. Портниха заметила бы еще одну особенность в этом салоне: туалеты здесь имели свою физиономию; тут не было туалетов светской буржуазки, ни туалетов кокоток или провинциалок; тут были туалеты оригинальные, эксцентричные, имеющие на себе отпечаток каприза индивидуальной фантазии, особенно отпечаток космополитизма, который напоминал во всем туалете женщин общественное положение их мужей.

Г-жа де-Мардоне была прервана посреди своего делового разговора с обладателем желтых бак молодой женщиной, пришедшей с смущенным видом искать около неё приюта.

– Что с вами, моя милая? – спросила госпожа де-Мардоне, эту красивую брюнетку, только что разошедшуюся со своим мужем.

– Ах, этот Нашет, он невозможен! Вот уже полчаса как он меня мучает моим мужем... Мой друг будто бы рассказал ему то, что он говорил мне.

– Я побраню Нашета, моя милая. – Обернувшись, госпожа де-Мардоне встретила лицом к лицу с молодым человеком, блондином высокого роста, которого ей представляли; специальность его в литературе состояла в способности пристегиваться в своим приятелям, чтобы проникать всюду, и участвовать на похоронах, чтобы завязывать отношения. Отвечая на его низкие поклоны, госпожа де-Мардоне в то же время заметила, что вечер становился вялым и разговор иссякал. Диалог, обещанный ею своим гостям, не состоялся из-за мигрени одного из участвующих. Эта неудача внесла некоторый холод в общество.

– Однако, – проговорила она, прерывая любезности представляемого юноши, – неужели же мы будем скучать? Я не хочу, чтобы у меня скучали!.. моя репутация погибнет!.. Как! У нас тут люди с патентованным воображением... и ни у кого ни одной идеи!..

Послушайте, господа... старинные актеры итальянской комедии импровизировали целые роли на заданную тему... Вы должны сделать тоже для здешней публики. Пойдите! Кто-нибудь из вас, милостивые государины, предложит сюжет этим господам, которые обязаны тотчас же рассказать на него что-нибудь забавное... Понятно, автор может взять себе актеров, сколько ему нужно.

Из дам составилась маленький совет, и после некоторых переговоров, госпожа де-Мардоне объявила:

– Господа, дело идет о комедии, шараде, шутке, сочиненной на вас самих. Сюжет наш: «Литератор»... Скорее, бросайте имена всех вас в эту шапку.

Вышло имя Демальи.

– Вам дается четверть часа на размышление, – проговорила госпожа де-Мардоне. – Чего вы потребуете?

– Турецкий барабан, Флориссака и Бурниша.

– Отлично! Кажется, у меня есть барабан и костюмы от моего последнего маскарада, там, наверху. Спросите Жозефа.

Через десять минут дверь залы отворилась на обе половинки и вошло торжественное трио.

Бурниш играл на большом турецком барабане апофеоз Дюмерсана – его гений и Бобэш ведут его к бессмертию – увертюру для полного оркестра.

Флориссак, одетый молодым «pitre» с бабочкой, качавшейся на проволоке перед его носом, в дурацком колпаке, с горбом паяца на спине, походил на Антиноя, завернутого в полосатый холст.

Демальи шел задрапированный Фонтанарозом в блестящих.

Бурниш, поскользнувшись, прислонился к круглому дивану посередине залы и положил обе ноги на барабан.

Флориссак и Демальи вскочили с ногами на диван нос к носу.

– Милостивые государины и государи! – начал Демальи – фантазеры и реалисты! И вы прелестные женщины! Мы имеем честь представить для вашей забавы большое представление знаменитого: «Катехизиса литератора», пьеса в двух лицах! Новый экспромт, написанный без свечей! Автором с европейской известностью! Мною, милостивые государи!.. И этого дурака Виф-Аржана. Кланяйтесь, Виф-Аржан! Музыка вперед!

Бурниш сыграл три такта знаменитого романса: цин! бум! бум! мелодию, которую он повторял в продолжение всей шутки.

– Виф-Аржан, – сказал Демальи Флориссаку, – подымайте занавесь!

Флориссак высморкался.

– Занавесь поднята, Виф-Аржан?

– Буржуа! – отвечал Флориссак.

– Можете вы мне сказать, что такое литература?

– Буржуа, это предмет роскоши.

– Виф-Аржан!

– Буржуа!

– Можете вы мне сказать мнение ваших родителей о литературе?

– Мнение моих родителей о литературе? Это был сильный пинок ногою... в моем призвании.

– Виф-Аржан?

– Буржуа!

– Можете вы мне сказать что-нибудь об Академии?

– Буржуа, это первая инстанция бессмертия.

– А потомство, Виф-Аржан?

– Буржуа, это нечто вроде кассационного суда.
– Виф-Аржан, что такое литератор?
– Буржуа, это человек танцующий на двадцати четырех буквах алфавита и бросающий в будущее мысли, которые падают на его шею в виде толстых су.
– Виф-Аржан?
– Буржуа!
– Сделайте мне удовольствие, скажите почтенному обществу, почему узнают литератора?
– По его переезду на квартиру.
– А великого литератора, Виф-Аржан?
– По его похоронам, буржуа.
– Виф-Аржан?
– Буржуа!
– Например, можете вы сказать, что такое книга?
– Книга, буржуа? Это нечто вроде человека: она имеет душу, и ее едят черви.
– Скажите этим господам, что такое реклама?
– Это – рукопожатие литераторов.
– Виф-Аржан, можете ли вы объяснить этим уважаемым господам, что такое издатель?
– Это – ломбард рукописей.
– Милейший Виф-Аржан, скажите вы нам теперь, что такое поэт?
– Да, буржуа. Это господин, который подставляет к звезде лестницу и лезет по ней, играя на скрипке.

– А что такое критика, Виф-Аржан?
– Порошок для подчистки общественного мнения.
– Внимание, Виф-Аржан! Что такое водевилист?
– Буржуа, это человек, который сотрудничает.
– Виф-Аржан, что такое роман?
– Это волшебные рассказы для взрослых, буржуа.
– А газета?
– Три су истории в свертке бумаги.
– А журналист?
– Поденный писатель, буржуа.
– Ха, ха! Что же такое публика, Виф-Аржан?
– Буржуа, это тот, это платит.
– Виф-Аржан?
– Буржуа!
– Если мы попросим по чашке чаю?
– Да, буржуа.

Начали аплодировать. Госпожа де-Мардоне нашла шутку прелестной и очень благодарил Демальи, который был осажден дамами с чашками чаю.

Белокурый молодой человек воспользовался случаем, чтобы улизнуть, шепнув Кутюра:

– Вы извинитесь за меня перед госпожой де-Мардоне... Я ухожу: я хочу это сейчас же послать в одну бельгийскую газету.

В час Демальи и его друзья толпой вышли от госпожи де-Мардоне. Кутюра по дороге будил извозчиков, заснувших на своих козлах, крича им с интонациями актера Феликса.

– Извозчик! Эй! Вон! Туда!.. Мы дети семьи... способные проесть наше родовое!
– Что ж, спать поедем? – спросил Нашет.
– Пойдемте на бал в оперу; вот и предлог поужинать.

XIV

Демальи, Кутюра и Нашет вошли втроем в фойе. Нашет очень скоро исчез с замаскированной женщиной.

– Как скучно! – проговорил Кутюра, – я знаю всех этих дам как... свой карман!..

– Чего тебе надо, кошечка? – сказал он домино, подошедшему к нему, – интриговать меня? Ну что же, поинтригуй меня, маленькая Луиза... Видишь ли, Демальи, ничего не может быть глупее, как узнавать всех на балу оперы... Я предпочел бы лучше не знать никого. Нет, уверяю тебя, это надоедает называть всякую маску её уменьшительным именем: прийти сюда, чтобы наизусть повторить календарь, согласишься... какое это положение!.. здравствуй, здравствуй!..

И Кутюра кивал направо и налево.

– Стой! Женщина, которой я не знаю!.. Ты увидишь мое счастье! Пари держу, я не знаю этой женщины!.. – И Кутюра пробрался в середину давки, чтобы дойти до белокурой женщины, около которой сидел молодой человек.

Кутюра заглянул ей под маску, наклонился, и прошептал на ухо.

– Эрманс!

Домино вздрогнуло.

– Я так и знал!.. Скажи пожалуйста, ты воспитываешь их теперь очень тщательно? Что такое этот маленький господин?

– Миллионы, мой милый.

– Откуда?

– От старой тетки.

– Чем он занимается?

– Любит меня.

– Значит, ему нельзя представить приятелей?

– Невозможно... Он ревнив как старик... И даже ты будешь очень мил, если уйдешь отсюда, потому, если б он узнал... Он считает меня за порядочную женщину, мой милый.

– Извини, прекрасная маска!

И Кутюра поклонился с видом уважения и как бы обманутый в надеждах.

– А, что я тебе говорил? – сказал он Демальи, – представь, эта женщина... Словом сказать, мы очутились с тремя су... пятого января... Мы пошли слушать проповедь в церковь, где были рожи!..

– Кутюра! Кутюра! Мне надо сказать тебе кое-что! На десять минут!..

И женщина, взяв его под руку, увлекла в ложу.

Демальи, оставшись один, спустился в залу, где нашел Жиру, согнувшегося на скамейке с вытаращенными глазами, походившего в своем костюме баденского крестьянина на картонную игрушку, на которую надели пару бретелек.

– Демальи, мой милый, я совсем готов.

– Как всегда!

– Вот как вы, в статском!.. А у меня, мои штаны!.. А? Я околеваю в них... Мне хочется колотить гусей большой палкой, как на нашем празднике... Но это совсем не то... У меня есть идея... Я пришел, чтобы посмотреть на эту суету сверху!.. Право. Но я не могу... Никогда я не дойду туда... И зачем они делают лестницы? Это нарочно: они не хотят, чтобы подымались, видите ли. Пожарные угощаются там апельсинным салатом. Поэтому они и не хотят... Взойдемте, хотите? Ах! Что такое мой костюм? Баденский!.. Шварцвальд!.. едете вы туда летом? Нас будет пятеро... Пешком!.. Отлично... превосходно! Взойдем, не правда ли?

Шарль взял Жиру под руку и не без труда потащил его по лестнице.

– Милый мой, это глупо, у меня качка в коленях, – говорил Жиру, навалившись на Шарля и хватая его за руку на каждом шагу. Мне теперь очень неприятно: я не знаю, что я измеряю... Пока я сижу, еще ничего, но... Дайте вздохнуть минутку... Вы знаете Элизу? Мы с ней поссорились... Я говорю это вам, Демальи, потому что я знаю!.. Сегодня вечером, мой милый, еду я на извозчике подышать воздухом, я люблю воздух... извозчик заговорил со мной... Я ему сказал: не говорите со мной! А он говорил... Спрашивается, какой это мне вид придавало... Я ведь не ради себя, понимаете, но ради общества... Наконец, он начинает бить хлыстом мою любовницу, которая была в карете... Это ничего, этот извозчик наглец... Я, во-первых, женщины... О! женщины! Но я сказал ему, этому кучеру, что есть два жандарма, жандарм физический и жандарм моральный, который охраняет нас внутри, без лошади, без фуражки, без сабли – это совесть!.. Да!.. А жандарм большой дороги. Да! Уф!

Наконец Шарль усадил Жиру на скамейку четвертой ложи. Жиру протянулся на край ложи, положил оба локтя на бархатные перила и подпер подбородок обеими руками. Шарль облокотился, и оба несколько времени смотрели, ничего не говоря, на бал и на зало.

Над ними на плафоне в облаках выделялись там и сям то кусок пурпура, то розовое тело, то складка плаща, то профиль богини. Под ними море люстр, ослепительный покров из белых огней; золотые гирлянды балконов, сверху до низу ложи, на красном фоне которых выделялись белые галстуки, лица, покрасневшие от жары, белые треугольники мужских сорочек, черные шляпы, черные одежды; тени черных женщин, белые перчатки, опускавшие или подымавшие, болтая, кружева их масок; внизу, по обеим сторонам залы, по двум красным лестницам, между стиснутыми полицейскими, толпы масок, толпы женщин, топчущихся на ступеньках и собирающихся танцевать; внизу – зала, поглощающая все: белые, красные, розовые, зеленые цвета, перья, каски, плечи, юбки, галуны, кисточки, шляпы, фальшивые бриллианты... Море молний, сверкающих тут и там. Рукава в воздухе, вертящиеся юбки, путающиеся и сталкивающиеся пары, прерванный галоп, развевающиеся ленты и перья... И музыка, ожесточенные удары литавр, грохот барабанов, гром оркестра; гул в зале; ура, виваты, припевы, хоры, звуки трещоток, удары танцоров по их ляжкам, и пол, скрипящий под ногами. Радуга и шабаш, все подымалось им в глаза и в уши в тумане лучей, в шуршанье, в теплом облаке, в буром паре вместе с пылью и смутным гамом ночной вакханалии.

– Как чудно, – проговорил вдруг Жиру, которого это головокружительное зрелище отрезвило. – Как чудно! Передать это!.. Этот кавардак, это верченье! Чёрт возьми! Молодец будет господин, который изобразит этот кипящий котел, этот свет, эту сутолоку в дьявольском рисунке!.. Понимаете, Демальи... чтобы все носилось в вихре. Написать музыку, канкан, все! Или вот хоть эту желтую юбку... Ах!

И Жиру сделал большим пальцем жест человека, который кладет тона на полотно.

– Подумать, сколько прекрасных современных вещей умрут... умрут и ни один человек, ни одна душа не спасет их! Ах! Сколько смелой живописи, скульптуры на бульварах, в Елисейских полях, на Бирже, в Мабиль!.. А между тем этот ничтожный журналишко!.. И когда я подумаю, что я настолько подл... Стойте! Демальи, вы говорите себе: зачем Жиру пьет? Если не вы говорите, то другие за вас... Ну хорошо! Вот зачем я пью... Потому что я чувствую свое бессилие!.. Я вижу вещи... и не могу их осилить... Все равно что вот сейчас на лестнице... Я бы желал хотеть и... не могу... вот я и пью!.. Да, это чудесно!..

Две минуты спустя, Жиру спал на скамейке.

Шарль оставил его спать, а сам спустился. Кутюра снова взял его под руку, и они прогуливались в коридоре первых лож, когда Нашет подошел в ним в дурном расположении духа.

– Нашет, на кого ты наскочил? – спросил его Кутюра, – на честную женщину?

– Очень честную! – сказал Нашет! – это Резен.

– Ха, ха, – засмеялся Кутюра. – Я уверен, что Демал и не знает.

– Я ничего не знаю, – сказал Демальи. – Кто такая Резен?..

– Жидовка, мой милый, – проговорил Нашет, – которая посвятила своего ребенка Божьей Матери, и которая любит его!.. Она готова публично исповедоваться, чтобы доставить ему удовольствие, что было бы замечательное самоотвержение! Представь себе – она торговка мебели – но прехитрая!.. У нее явилась блестящая идея! Положим, идешь к ней ты или я, но большею частью это не ты и не я, а какая-нибудь женщина. Ах, как мило у вас! Как все устроено! Да, говорит Резен, это мне стоило порядочно... Но у меня другая мебель в виду, и если эта вам подходит... Золотая коммерция!.. Я из-за этого интриговал ее, мой милый, из-за обстановки, из-за её последней обстановки... Я хотел переезжать, хотел иметь обстановку, на которую мог бы посмотреть, не косясь любой член совета адвокатов... И знаешь, то со иной случилось? Я попал на первую обстановку, которую Резен хочет оставить за собой... Это ясно, она не доверяет более моей подписи... Пойдемте ужинать... Бал самый гнусный.

XV

Придя на бульвар Монмартр, к двери, украшенной двумя гипсовыми амурами, сидящими по бокам маленького маяка, где было написано: «Нашет», три друга миновали устричную, открывавшую со злобой остэндские и мареннские устрицы. Гарсоны, как снежные лавины, скатывались по лестнице. Перекрестно раздавались резкие крики: счет номера 4, счет номера 9! А в недрах стены, точно бык, мычал в подземную кухню вечный заказ стоустого чудовища.

– Минутку, – сказал Кутюра, – я сейчас вас представлю.

И он пошел, работая локтями, в большую залу ресторана.

Все столы были заняты. Жара от газа, дым сигар, запах соусов, звон стаканов, хлопанье пробок от шампанского, гул смеха, начатые песни, охрипшие голоса, непринужденные позы, непристойные жесты, расстегнутые корсеты, разгоревшиеся глаза, слипающиеся веки, покрасневшие и измученные масками лица, тосты, измятые костюмы и сорочки, Пьеро с осыпавшейся мукой на лице, медведи наполовину одетые человеком, альпийские пастушки в черных панталонах, господин, клюнувший носом в стакан, соло пасторали, исполненное на скатерти аудитором государственного совета, татуированный дикарь, рассказывающий гарсону историю министерства Мартиньяка – все говорило о позднем часе: было пять часов утра. Когда они входили, в глубине залы сильно шумели: три высоких чудака, костюмированных в кавалерийские султаны, просили, пуская в ход руки, замаскированное домино снять маску.

– Не снимайте маски с этой дамы! – кричал какой-то индивидуум в коричневой рясе, сидящий за маленьким столиком против камина, – может быть это чья-нибудь жена!

– Да это голос... – сказал Кутюра.

– Молланде!

Они подошли к столу: это и был Молланде, замаскированный монахом.

– Вот как!

– Он сам.

– Ты?

– Я. Садитесь.

– Ты с бала?

– Никогда!

– А твой монашеский костюм, откуда ты его взял?

– В гардеробе старых французских учреждений... Гарсон! Женщин!.. Господин, о, господин! И вы туда! О чем вы думаете?.. О шляпе Генриха IV?.. Как? Бьют женщин?.. Подойди сюда, дикарь! Подумай немного, если бы вновь нашли Менандра, мы бы знали, что такое посредственная комедия!.. Ты скажешь: у нас есть Скриб... Я тебя знаю, ты мне скажешь это... Ни слова более!.. Господа! Господа! Что станет с старым французским весельем! Мы срываем последние виноградные ветки... Господа, когда в стране есть учреждение, именуемое академией наук нравственных и политических... Пью за здоровье наших незаконных детей!.. Сударыня, сударыня! Дайте мне ваш букет: мне хочется поцеловать искусственную розу... Эй!.. Соседка!.. Кто говорит, что я смешон? Дурак! Это мое ремесло!.. Представьте себе, Фанни... Читали вы волшебные сказки, милочка? Жила-была однажды газета, называвшаяся «Национальное собрание»... Господин Гизо писал в нем под псевдонимом Матареля де-Фьенн: его никогда не узнавали... Ну, хорошо! В конторе редакции находилась синоптическая таблица... Синоптическая, Жюли!.. Она могла бы быть и не синоптической... но она была синоптической... там были слова, вычеркнутые из фельетона... Господа, видите вы два алебастровые полушария у мадемуазель: мне было запрещено называть их уменьшительными именами!.. Зефирин! Вы не испорчены моралью Шамфора, это мне как раз кстати! Вы живете в улице

Папильон... и вы починаете кашемировые шали... Вы ангел!.. Гарсон! Гарсон!.. Как же глуп этот гарсон! Он родился на развалинах Бастилии!

Тут Молланде перевел дух и залпом выпил два больших стакана бургонского. Он имел полный успех: мужчины хохотали, дамы находили его смешным. Демальи, сидя около него, подливал ему. Кутюра ходил от одного стола к другому, заигрывая с старыми знакомками, нашептывая им на ухо любезности и раскланиваясь с их любовниками.

– Твой брат чистил мне сапоги при входе на бал... Ты ничего не сделала для воспитания этого ребенка: посмотри мои сапоги! – говорил Нашет одинокому домино, около которого он уселся и которое поворачивало к нему спину, кусая со злости вышитый платок.

– Ах, господа, – проговорил Молланде, вставая, – что такое жизнь, *vita* по латыни. Хотите я вам продекламирую из Байрона? Жизнь есть длинная цепь страданий... долина слез! Теряют зонтики... своих родителей... доверие поставщиков... У меня был друг, делавший мне новые сапоги, я похоронил его, господа... Находишь у себя дырявые сапоги... Ты холостой; потом ты женишься на женщине, не обладающей возвышенностью твоих чувств... Рождаются дети... Потом умираешь... *De-profiindis!*

И Молланде щелкнул по пустой бутылке...

На бульваре:

– Идем? – слышался голос.

– Куда?

– В рынок, есть луковый суп.

Никто не ответил на предложение. Каждый пошел к себе, по пустынным улицам, шаги звонко раздавались по мостовой заснувшего города, этого Парижа, таинственно умершего, неподвижного, немом, освещенного луной, как Помпея, охраняемого городской стражей.

XVI

Демальи, вернувшись домой, уселся к горящему камину, зажег сигару, взял со стола альбом с застёжкой, написал в нем четыре или пять строк и принялся курить, перелистывая рукопись, на первой странице которой было написано: «Воспоминания моей мертвой жизни».

Одна из особенностей цивилизации – извращать первобытную природу человека и придавать физическим ощущениям значение нравственных чувств, приписывая душе тонкости, которые в первобытном состоянии приписываются слуху, обонянию и другим телесным чувствам. Шарль Демальи служил этому наглядным примером. Обладая нежной и болезненной натурой, он происходил из семьи, соединившей в себе болезненную чуткость двух рас, которых он был выразителем и последним отпрыском. Шарль обладал в высшей степени впечатлительностью и душевным тактом. В нем таилось острое, почти удручающее понимание всех жизненных событий. Везде, где он бывал, его как бы охватывала атмосфера чувств, которые он встречал. Он чувствовал сцену или разрыв так, где видел улыбки на всех устах. Он читал мысли своей любовницы, когда она молчала; видел неприязненность своих друзей; предчувствовал хорошие или дурные новости при входе человека, принесшего их. Это понимание было до такой степени развито в нем, что всегда предшествовало впечатлениям и поражало его раньше, чем совершалось наблюдение. Взгляд, звук голоса, жест – говорили и открывали ему то, что скрывалось от всего мира; он завидовал от всего сердца тем счастливым, которые проходят мимо жизни, дружбы, любви, общества, мужчин и женщин, не замечая ничего, что им показывают, и которые пребывают всю свою жизнь в иллюзии, которой они никогда не разбивают.

То, что действует так слабо на большинство, именно предметы, имели на Шарля громадное влияние. Они говорили и поражали его как одушевленные предметы. Они, казалось ему, имели свою физиономию, свою речь, свои таинственные особенности, порождавшие симпатии или антипатии. Эти невидимые атомы, эта душа, которая улетучивается от людей, имела отклик в душе Шарля. Обстановка была ему другом или врагом.

Плохой стакан отбивал у него охоту к хорошему вину. Оттенок, форма, цвет бумаги, мебельная материя действовали на него приятно или неприятно, и изменяли его расположение духа сообразно его многочисленным впечатлениям. Точно также и удовольствия не долго длились для него: Шарль требовал от них слишком большой цельности, слишком совершенного согласия людей и вещей. Но очарование быстро рассеивалось. Достаточно было одной фальшивой ноты в чувстве или в опере, скучной физиономии или просто несимпатичного гарсона в кафе, чтобы вылечить его от каприза, от восхищения, или лишить аппетита.

Эта нервная чувствительность, эта непрерывная склонность к впечатлениям, неприятным большей частью, и оскорбляющая самые нежные струны его души, сделали из Шарля меланхолика. Не то, чтобы Шарль был меланхоличен, как книга с громкими фразами; он был меланхоличен как умный человек, знающий жизнь. Он не казался печальным. Его смех выражался иронией, но такой тонкой и скрытой, что часто он был ироничен только про себя и никто не замечал его внутреннего смеха.

Шарль имел только одну любовь, одну веру, одно призвание: литературу. Литература была его жизнью; она была его сердцем. Он предался ей совершенно, отдав ей всю свою страсть, весь жар своей пылкой натуры, под личиной холодности и равнодушия. В остальном Шарль был человек как все люди. Он не избегнул себялюбия и эгоизма писателя, быстрых разочарований человека воображения, непостоянства вкусов и увлечений, его резкостей и переменчивости. Шарль был слабохарактерен. В нем не хватало энергии, всегда готовой на дело; ему надо было подготовиться в важному шагу, возбудить себя для сильного решения, увлечься, подстрекнуть себя. Создает ли человека физическое бытие? А наши нравственные и умственные качества

не составляют ли просто на-просто развитие соответственного органа, или его болезненное состояние? Шарль всем своим характером, слабостями и страстями, был может, был обязан своему темпераменту, своему телу, постоянно страдающему. Быть может, в этом надо было искать и секрет его таланта, этого нервного таланта, редкого и изящного в своих наблюдениях, всегда артистичного, но неровного, полного скачков и неспособного достигнуть спокойствия, плавности, неизменной свежести произведений действительно великих и прекрасных.

Но к чему описывать Шарля? Он исповедовался сам себе в этом дневнике своей души, где рука его, глаза и мысли прогуливаются наудачу, остановившись на следующих выдержках:

XVII

...Я снова погрузился в скуку, спустившись с высоты наслаждений. Я дурно устроен, скоро устаю. Я ухожу с оргии с разбитой душой, в изнеможении, с отвращением к желанию, с беспредельной и неопределенной грустью. Мое тело и ум на другой день совершенно пьянеют. После увлечения, страшное пресыщение, нравственное расстройство, пустота и туман в голове...

7 февраля.

Продал сегодня одному издателю мою первую книгу, одни только издержки. – Проходил по Тюльерийскому саду, счастливый, легкий как перышко, вдыхая воздух полной грудью, с улыбкой на устах; шел дождь, – никого не было в саду, кроме детей, делавших каравайчики из грязи, глядевших и смеявшихся на меня, ничего не понимая.

Май.

Мы были позади церкви св. Магдалины.

– Могу я вам писать?

– Мой муж распечатывает все мои письма.

Она останавливается, а я облакачиваюсь на выступ какой-то лавки.

– Это невозможно!

Молчание; она проводит рукой по глазам.

– ... Нет!..

– Невозможно? Но, разве женщина...

Она взволнована:

– Постойте, лучше нам больше не видеться.

– Отчего же не скрасить вашу жизнь романом?

– Романом!.. романом (вздыхая) о, это серьезно для меня! (слегка улыбаясь), мой муж запрещает мне их читать...

Она смотрит на меня и вдруг произносит:

– Расстанемся!

– Хорошо, сударыня, но с одним условием: я последую за вами.

Она переходит улицу, в это время из церкви выходит свадебная процессия.

– Посмотрите невесту... хорошенькая она?

– Вы не оставите меня так, я вас увижу еще? – говорю я взволнованным голосом.

– Зачем?.. Для вас это игра, для меня это слишком серьезно... Я вызвала... я возбудила в вас маленькое чувство... я была неосторожна... я говорю бессвязно... первое, что мне придет в голову... Идите, для вас все это пустяки и не оставит последствий... Лучше, чтобы между нами ничего не было.

Я протестую самым серьезным образом.

– О, я счастлива видеть вас так близко к себе, потому что могу только видеть вас издали, – говорит она упавшим голосом; потом вдруг резко: – Кланяйтесь и уходите скорее!.. Мой муж идет!

Декабрь 185...

От нечего делать захожу я в маленький театр. Содержатель его, Жакмен, бывший воротила в маленькой газете «Крокодил». Девушки на авансцене и в открытых ложах закутаные, наполовину показываются мужчинам в оркестре и в партере, смеясь и грозя им пальчиками. Женщины, открывающие ложи, просят у сидящих в первых рядах мужчин «местечка

для дам». Девушка чувствует себя тут точно в собственном салоне. Она принимает жеманные позы, как у себя дома или в своей коляске. На балконе и авансцене – ряды мужчин с тусклыми лицами, которые делаются белыми от освещения; пробор на голове, женская заботливость в причёске; откинувшись как женщины, они обмахиваются программами, сложенными веером, каждую минуту поднимают руки, украшенные кольцами, чтобы поправить залезшие височки, постукивают по губам набалдашниками своих тросточек или курят сигары.

Ноябрь.

Совсем не спавши эту ночь, я встаю точно человек, прошедший ночь в игре. Надежды уходят и вновь приходят ко мне. Положим, пьеса, поставленная мною в Одеоне, только в одном акте, все же так это средство добраться до публики. У меня не хватает сил дожидаться ответа у себя, и я спасаюсь за город, глупо разглядывая в окно вагона проносящиеся мимо деревья и дома.

Из Отейля я иду через Севрский мост. У меня потребность ходить. Окруженный синеватыми испарениями, между деревьями, позолоченными осенью, я иду наудачу по левому берегу, по дороге к Бельвю. Я встречаю молодую девушку, теперь уже мать, ведущую за руку белокурую маленькую девочку, в продолжение целой недели у меня было совершенно серьезное намерение жениться на ней. О, какое старое прошлое напоминает она мне! Сколько лет не видеться друг с другом! Узнаешь о свадьбах; о похоронах и тебя тихо упрекают в том, что забыл своих старых друзей...

По дороге я задеваю человека, выходящего из лечебницы доктора Флери: это старый бог драмы, Фредерик Леметр... И во всем этом, в этой дороге, во встречах, в моей мертвой жизни, возвращающейся ко мне, во всем, что случай восстанавливает предо мною, в этой тени моей молодости, как бы обещающей мне новую жизнь, я слышу и вижу предзнаменование, то хорошее, то дурное, полный мыслей, сосредоточивающихся на одной постоянной мысли, придающей всему мое лихорадочное чувство, и принимающей арию шарманки за увертюру моей пьесы...

185...

Женщина всегда защищается своею слабостью. Это – по поводу всего и ничего, антагонизм желаний, возмущение мелких прихотей, война маленьких решений, не прекращающаяся и как бы созданная для удовольствия их. Эта страсть к борьбе есть в их глазах доказательство их существования. Каприз есть способ упражнения их воли. Женщине в этой глухой, тупой и вместе с тем раздражающей борьбе остается покинутое владычество, победа над усталостью, и в тоже время некоторое презрение мужчины, который не любит и не умеет тратить свои силы на мелочи.

Смотрел картину Грансэ в Буживале. Эта маленькая страна – мастерская, отечество пейзажа. Каждый кусочек земли, каждое деревцо напоминают картину. Точно глядишь на палитру почти всех наших пейзажистов. Есть такие уголки воды, зелени и деревьев, что так и видишь не стершийся номер выставки на голубом небе. В Буживале полевая стража совсем не стережет именей: она стережет «виды», «эффекты», она мешает красть «закаты солнца».

Грансэ, старейшина Буживаля, вместе с Пеллетаном, который был его пророком. Буживаль имеет уже свою историю и свои реликвии: дом Лире и воскресные обеды под открытым небом, дом Одилон Барро, и беседка, предназначенная для либеральных разговоров; стены и люди, говорящие вам об идеях и о женщинах, не существующих более; две биниюнии на алжирском острове, сплетающиеся вверху и составляющие первую картину француза; а там, на высоте, Жоншера, также красиво расположенная, как и замок Люсьен, и глядящая на мастерские Буживаля.

185...

Пощупал пульс литературы маленьких газет. Нет более школ, нет более партий, ни идей, ни знамени. Оскорбления, не мотивируемые даже гневом, нападки без доказательств! Сумма всех оскорблений, расточавшихся вчера во всей стране на все административные царствующие и правящие головы, выливается на другой день в статьях. Ничего, кроме закулисных скандалов и парикмахерских острот, плоских шуток. Ни новых людей, ни молодого пера, ни даже молодой горечи... Нет более публики: есть только известная кучка людей, читающая для пищеварения, как пьют стакан воды после чашки шоколаду, людей, требующих текучей и ясной прозы, как процеженная вода из Сены; людей, любящих читать в дороге, в карете, в вагоне, рассказы, которых собрано много в одной книге; людей, читающих не книгу, а на двадцать су.

Я размышляю, сколько стоило мне одно из моих пяти чувств – зрение. Сколько в моей жизни покупал я произведений искусства и наслаждался ими! Нечувствительный к предметам природы, я более удивляюсь картине, чем пейзажу и человеку, чем Богу.

Июль.

Лоретка становится хороша только к сорока годам. Один из моих друзей, собиравшийся сделать обстановку из розового дерева женщине из общества, взял меня под руку в Шато де-Флер и, бросая презрительный взгляд на падших созданий, произнес:

– Светские женщины также красивы как эти... и ничего не стоят, – на первый раз!.. Моя любовница рассказала мне, что у ней было воспаление легких и ей не на что было купить пивок, предписанных ей доктором... Я чуть было не взволновался более, чем этого требовала вежливость, когда подумал о страданиях, которым есть на что скупить пивок со всего мира... Все дело в том, чтобы знать, страдает ли человек, умирая от честолюбия или от любви, столько же, чем когда он умирает с голода? Что касается меня, я этому верю.

Вчера я встретил у бывшего министра одного из своих старых школьных товарищей, готовящегося быть государственным человеком. Он весь вечер присутствовал при разговорах шестидесятилетних стариков, не раскрывая рта и серьезный как доктринер, который пьет. – Человек будущего! – сказал себе старый министр, – он слушает с такой глубиной!

Я всего больше люблю неофициальных гениев. Кавой путь от дикаря к Рембрандту и Гофману! Самый удивительный разврат, если хотите.

Сегодня я видел примерную любовницу, любовницу молодого немца, итальянку, настолько привязанную к своему чахоточному любовнику, что она не пускает его выходить по вечерам, запирается с ним, болтает, куря папироски, читает, полулежа на кресле, выставляя кончик белой юбки и красные кисточки своих туфель. Бывают у них двое или трое немцев со своими трубками, с двумя-тремя гегелевскими идеями и с большим презрением к французской политике, которую они называют «сантиментальной политикой». Хозяйка квартиры и днем и вечером очень редко выходит. Она сохранила в Париже привычки итальянской женщины, и чтобы заняться, она выбирает из «Constitutionnel» недлинный роман и переводит его только для себя, на чистейший тосканский язык. Обстановка восхитительная. Но через-чур много портретов друзей и родственников. Это походит на храм Дружбы... Из всех этих портретов единственный интересен с моральной точки зрения: это портрет любовницы, сделанный матерью любовника.

Январь.

Париж – это надменное выметание фортуны, это – смерть для молодых людей!.. И так скоро, без всяких приключений, без всякого шума! Ах, бульвар так быстро поедает этих гарцующих прожигателей жизни. Один год, два – самое большое и... прогорели! Встречаю как-то одного из старых друзей, уплатившего вовремя свои долги, пустившего корни в провинции, и проводящего день за днем в деревне.

– А как поживает такой-то? – спрашиваю я.

– У него судебный совет... Он занимал под четыреста процентов у господ, встречавшихся с ним на скачках... Ах сколько он самым глупым образом потратил денег!.. А другие-то!

– А тот, толстяк, которого я часто видал у тебя?

– Женился, мой милый... случайность!

– А другой, такой веселый?

– Удалился в Дордонь, к чёрту, на свою оставшуюся ферму вместе со своей любовницей... Играет в пикет со священником.

– А Шоза ты знаешь?

– Ах, Шоз, он кончил особенно: он себе прострелил голову!.. Один выстрел – и конец! Это вследствие различных катастроф, нищеты и разорения.

Пошел я в «Monde des arts» отдать туда статью. Там нахожу Массона, человека, которого я узнал только по книгам, и которого уже любил, восхищаясь им. Полное, несколько тяжеловатое лицо, на котором заснула божественность; в глазах замечательный ум, как бы дремлющий в ленивом и спокойном взгляде; на всем лице усталость и сила Титана на покое.

Большой, черный господин восклицает стоя около него:

– Да, такова моя система работы: я ложусь в восемь часов, встаю в три, выпиваю две чашки черного кофе и работаю до одиннадцати...

Масон, как бы проснувшись, возразил:

– О, я бы сошел с ума от такой жизни! Утром меня будит сон, будто я голоден. Мне снится красная говядина, огромные столы с роскошными яствами... Говядина подымает меня. Позавтракав, я курю. Я встаю в половине восьмого и к одиннадцати часам я готов. Тогда я притаскиваю кресло, кладу бумагу на стол, перья, чернила, орудия пытки; мне надоедает это! Мне всегда надоедало писать и к тому же это так бесполезно!.. Таким образом я важно пишу, как общественный писатель... Я не тороплюсь – он видел, как я пишу, но все же я подвигаюсь, потому что не ищущего лучшего. Статья хороша, написанная с одного раза, это как ребенок: или он есть, или его нет. Я никогда не думаю, о чем я напишу. Я беру перо и пишу. Я литератор и должен знать свое ремесло. Перед своей бумагой я как клоун на канате... Кроме того, у меня слог совершенно в порядке: я бросаю фразы, как кошек... Я уверен, что они встанут на лапы. Это очень просто, надо только иметь хороший слог. Я готов научить писать кого угодно: я бы мог открыть курс фельетонов в двадцать пять уроков! Да вот, посмотрите, мою рукопись: ни одной помарки... А! Флориссак; что же ты ничего не принес?

– Ах, мой милый, – отвечает Флориссак, – это смешно, у меня нет никакого таланта... и я узнаю это потому, что меня забавляют теперь только глупые вещи... Это глупо, я знаю; что ж, ничего, я смеюсь над этим...

– Однако ты был талантлив...

Июль.

Птица поет трели, светлая гармония капля по капле льется с её клюва; трава высокая, полная цветов и шмелей с золотистыми спинками, белня и коричневые бабочки. Самые высокие цветы качают свои головки под ветром, который наклоняет их; лучи солнца, протянувшиеся через зеленую дорогу; плющ, обвивающийся вокруг дуба, подобно ниткам Лилипутов вокруг Гулливера; между листвой просвет белого неба; пять ударов колокола, приносящих людям из-за чаши час отдыха на зеленой и мягкой траве; в лесу крики птиц, мошки, летающие и жужжащие вокруг меня, лес полон души, шепчущей и жужжащей; вдали слышен громкий лай; небо, освещенное заходящим солнцем... И все это надоедает мне, как описание природы...

Может быть, виноваты эти две собаки, которые играли на траве передо мною: они остановились, чтобы зевнуть...

Март 185...

Снова увидел Масона в редакции «Monde des arts». Сказал мне комплимент за мою статью об Алжире; и с удивительной памятью начал мне описывать, начиная с двери и кончая банкой с красными рыбами, поставленными на стол перед музыкантами, кафе Жираф и улицу État-Major, о которых я сказал два слова, потом он мне сказал:

– Вашу статью не поймут. На сто человек, которые ее прочтут, едва ли поймут двое... Тут все они взбешены против вашей статьи... И это просто происходит оттого, что массе людей, даже умным людям, не хватает артистического чутья. Многие люди не видят. Например, из двадцати пяти человек, которые пройдут здесь, может быть, нет и двух, которые видели бы цвет бумаги. Постойте, вот входит Бланшар. Он ни за что не заметит, круглый этот стол, или четырехугольный... Теперь, если вы с этим артистическим чутьем работаете в артистической форме, если к идее о форме вы прибавляете форму идеи... о, тогда, вы совсем не поняты...

И взяв наудачу маленький журналец, он продолжал:

– Вот, смотрите, как надо писать, чтобы быть понятным: «новости под рукою»! Французский язык исчезает, это факт... Э, Боже мой, в моих романах, мне говорят также, что не понимают... А между тем я себя считаю самым понятным человеком в мире... Потому что я ставлю слово, положим: «архитрав»... но не могу же я написать: «архитрав» есть архитектурный термин, который значит то-то и то-то... Надо, чтобы читатель знал слова... Да мне это все равно. Критики и похвалы хвалят и разбивают меня ни на йоту не понимая, что я такое. Все мое достоинство, они никогда не говорили о нем, состоит в том, что *я человек, для которого существует видимый мир.*

Реализм распространяется и гремит, в то время как дагерротип и фотография доказывают, насколько искусство разнится от правды.

Вот я осуществляю мечту многих людей; с деньгами в кармане, с женщиной, старой подругой, рассказывающей мне о своих любовниках; оба свободные, не боящиеся любви, ни тот, ни другой, и совершенно довольные. Приятные минуты – видеть ее в своей комнате, углубленной в кресло в кофточке; тут виден кусочек шеи, там часть руки, здесь оттопырившаяся юбка; или, в лесу под листвой, со щеками загорелыми от солнца. В вуали с горошками, тень от которых кажется на её коже родимыми пятнышками; или же в уединенной аллее парка, лежащую с закинутыми руками, в венке, в платье, развивающемся вокруг нее и около её ленивой, белокурой головки, которой завидует проходящая торговка настойкой из лакрицы... Но женщина всегда женщина. И она превосходная, только у неё страсть рассказывать во время еды. Только что суп ей откроет рот, как уже из него льется безостановочно последний роман из «la Patrie». И это продолжается, пока не подадут овощи, часто даже до десерта. Удивительно то, что она ест, чудесно то, что кончает концом, несносно то, что она хочет быть понятой.

Мне грустно, и я слышу, как на мраморный камин с глухим шумом падают один за другим листки большего букета пионов; а над и под моей комнатой взрыв женского смеха.

Я бы хотел иметь комнату, затопленную солнцем, мебель, старые портьеры, все цвета которых полиняли и как бы прошли под южными лучами. Там жил бы я в золотых грезах, с разогретым сердцем, с умом, купающимся в свете, в тихо напевающем покое...

Странно, что, по мере того, как старишься, солнце делается особенно дорого и необходимо, умираешь, прося растворить окна, чтобы оно закрыло тебе глаза.

Декабрь 185...

Я был в первый раз в ратуше. Тогда я видел там в зале Сен-Жана февральских убитых, очень чисто набальзамированных и в кисейных рубашках. Я был в ратуше во второй раз. В этот второй раз, в той же зале я стоял совсем голый, я надел на себя синие очки, но совет осмотра, найдя меня слишком хорошо сложенным, чтобы быть близоруким, назначил меня большин-

ством голосов в гусары. Я пошел в ратушу в третий раз, сегодня вечером, на бал. Убранство богато и вместе с тем бедно; золото – все великолепие зал и галерей; повсюду шелк, и мало бархата; всюду виден обойщик и нигде нет искусства; а на стенах, покрытых плоскими аллегориями, написанными Вазари, имени которых я не хочу знать, еще менее искусства чем в другом месте... Ах, галерея Аполлона! галерея Аполлона! Но восхищение двенадцати тысяч пар глаз, находящихся здесь, не очень требовательно. Что касается бала, это обыкновенный бал: толкаются и даже вальсируют. Тут я видел, как вальсирует учреждение такое же старинное, как генерал Фой: одни только воспитанники политехнической школы, порхающие в розовых и голубых газовых платьях.

Что меня всего более поразило, и что действительно прекрасная вещь, это чернильницы муниципального совета, похожие на сифоиды, их видно, они открыты для публики в эти торжественные дни. они монументальны, важны, сосредоточены, роскошны, представительны. они имеют в себе в одно и тоже время нечто похожее на египетские пирамиды, и на живот господина Прюдома; они похожи на состояние среднего сословия.

Чего я только ни писал изо дня в день в начале своей карьеры; эти жестокие и ужасные споры против анонима, все эти остановки в равнодушии или оскорблениях, эта публика, искомая и ускользающая от вас, это будущее, к которому я безропотно шел, хотя и часто отчаивался, эта борьба нетерпеливой и лихорадочной боли против времени и устарелости, одна из крупных привилегий литературы?... И ни друзей, ни связей, все заперто!.. Это молчание, так хорошо организованное против всех тех, которые хотят попробовать пирога «publicité», эта грусть и раздражение, овладевавшее мною в продолжение долгих годов, когда я вызывал эхо, не будучи в состоянии научить его произносить мое имя!.. Ах! эта немая внутренняя агония, не имеющая других свидетелей, кроме уязвленного самолюбия и изнемогающего сердца! Эта однообразная агония, написанная в такую минуту, по горячим следам страданий, была бы прекрасным этюдом, которого, впрочем, никто не напишет, потому что ничтожный успех, прибыль несколько сотен франков, какая-нибудь статья по пять или шесть копеек за строку, ваше имя, известное сотне лиц, которых вы не знаете, два-три друга, немножко рекламы – все это вылечит вас от прошлого и погрузит вас в забвение...

Эти раздражающие слезы, эти страдания покажутся вам такими далекими, как далека ваша молодость. И вы вспомните о старых ранах только тогда, когда они раскроются.

Её появление – это взрыв смеха, её лицо – это праздник. Когда она в комнате, начинается радость и деревенские объятия. Полная женщина с белокурыми волосами, крепированными и приподнятыми около лба, глаза с мягким выражением, полное, доброе лицо: полнота и величие рубенсовских женщин. После стольких тощих граций, стольких маленьких лиц, печальных, озабоченных, с нахмуренным челом, постоянно задумчивых и углубленных в измышление какой-нибудь хитрости; после всех этих уловок, попугаичьих приманок, ничтожного, нездорового жаргона, подобранного слово за словом в соре мастерских и в толпе; после этих маленьких надутых и доступных созданий – это деревенское здоровье, этот народный язык, эта сила, это радушие, это веселое и живое довольство, это открытое сердце с своими грубыми проявлениями и животной нежностью, все в этой женщине мне нравится, как хорошая простая деревенская пища после обедов в харчевне за тридцать два су. Затем, имея фламандский торс, она сохранила тонкие ноги Дианы Аллегренской, и ступню с длинными пальцами античной статуи.

Наконец человеку необходимы иногда некоторые грубости языка, особенно писателю, в котором материя, подавленная мозгом, отмщает за себя таким образом. Это её манера спускаться из корзины, в которую «Облака» заставляют влезать Сократа...

Я не настолько счастлив как те люди, которые носят в себе утешение постоянной веры, как фланелевую фуфайку, которой они не снимают даже ночью. Солнце или дождь заставляют меня сомневаться, или верить...

Загробная жизнь улыбается мне, когда я думаю о моей матери; но загробная жизнь безличная меня нисколько не соблазняет...

И вот я материалист. Но если я захочу уверять самого себя, что мои идеи суть столкновения чувств, что все, что есть умного или сверхчеловеческого во мне, ничто иное как мои чувства, высекающие огниво, тотчас же я становлюсь спиритуалистом.

XVIII

Углубленный в книгу своего прошлого, Шарль не заметил, как настал день, и его слуга подал ему следующее письмо:

«Ферма Фелье, февраль 185..»

Милое дитя мое!

Жизнь у нас все та же, какую ты ее знал. Только мои маленькие девочки и бедненькие племянницы, все мое маленькое семейство подрастает. Это веселье цыплятки на моей старой аббатской ферме: – они бегают, смеются, топчут, работают, потому что все они маленькие хозяйки, и, кончая самой младшей, составляют мне большую подмогу в моих работах. Знаешь ли ты, что в этот момент я имею пятьдесят работников, которые мне совсем не оставляют времени для шуток? Мы живем одни и сами с собою, и не чувствуем себя дурно.

Иногда сосед постучит в наши двери. Мы ему даем ужин и постель; гостеприимство то же, что и в твоё время: своя говядина, свои овощи, своя рыба и даже вино домашнее, – ты морщишься? – Гостеприимство фермера или патриарха; а когда на другой день утром я вхожу с куропаткой или зайцем в моей охотничьей сумке и встречаю моих малюток, – нет, ты не знаешь, как они милы в их утренних костюмах, в кофточках, маленьком чепчике с прядью выбившихся волос около их полных щечек, – я нахожу их вооруженными большими лопатами и вытаскивающими из печи пирожные, но какие пирожные!.. Желаю тебе покушать такие! И всегда с любовью к труду, как славные крестьянские девушки, которыми они все-таки не могут быть, потому что мои девочки очень элегантны и изящны, как по наружности, так и по их цивилизованным душам. В соседних замках смеются немного над нами. Кое-где шутят над этими устаревшими привычками, над этой жизнью, которая такая не модная. Но в глубине души нас уважают и очень любят... Но что это я сказал тебе, что наш дом все тот же? – Величайшее событие свершилось после тебя: одним гостем более, который займет тебя. Помнишь ты г-на Рамо, отца Рамо, у которого спасался твой отец, чтобы идти на войну? Ты еще ребенком шалил у него целое лето! Что касается меня, я могу похвастаться, что бесил его десять лет, лучшие десять лет в моей жизни. Превосходный добряк-священник, со своим нервным типом, придававшим ему такую смешную гримасу и удивленный вид, со своей любовью в латинской науке и удивительной памятью! Гримаса, здравый смысл, латынь – все осталось при нем, так же, как и память здоровая, свежая и ясная, несмотря на его годы. Все тот же поклонник Вергилия. Это заставляет тебя вспомнить сад, неправда ли? Этот маленький сад вроде коллегии, где он возымел чудесную идею вырезать из старых деревьев лица Энеиды: Энея, Турнуса, Лавинию! Я вижу еще Лавинию, а ты? Я очень счастлив, что он здесь, потому что меня мучили почти угрызения совести при воспоминании о всех шутках, которые я сыграл с ним. Бедный дорогой учитель! Святой, которому только не хватило для этого призвания к мученичеству и отрешения от единственного маленького греха, чревоугодия, который он скрывал под именем лакомства,

или вкуса к маленьким блюдам; он так добр и так невинен, что малютки, которых он учитель и папа-баловник в одно и то же время, окрестили его между собою божьей коровкой. Как они о нем заботятся!

«И так мой друг, – твоя семья здесь. Маленькие девочки хотели бы видеть тебя. Ничто не забыло о тебе. Дом ждет тебя, – а что касается хозяина... ты знаешь, у меня нет сына. Я люблю в тебе тех, которые уже скончались, – твоего отца и мать. Следовательно, я люблю тебя ради них во-первых, во-вторых – ради тебя самого, и наконец – для самого себя. Ты будешь свободен как гость, который у себя дома. Все, что ты не сделаешь – сочтут прекрасным. Ты найдешь библиотеку, увеличившуюся всеми книгами департамента, которые без сафьянных переплетов, без гербов, не значащиеся у Брюне, были оставлены мне злодеями парижскими букинистами, до сих пор все забиравшими; и вот моей спальней и кабинета не хватило для библиотеки; она сделала вторжение в соседнюю комнату, где сушат груши. Еще раз говорю, – все тебя здесь ждет: и сад, который видел тебя еще совсем маленьким, когда мать твоя носила тебя, – и маленькая роща, где я слышу еще мои споры с твоим отцом по поводу выборов. Как это старо уже! и как лучшие люди рано умирают! В эти дни я был в Сомрезе. Я должен был там поставлять рожь. Я едва узнал ваш старинный дом. Все переименовано: теперь тут фабрика напилков, штопоров. Сада больше нет; на месте знаменитого сливняка, дававшего так много слив для пирогов, – находится мастерская.

Они заколотили окошечки чердака, откуда деревенские шалуны стреляли яблоками. Уничтожена зала над комнатой, где деревенский учитель танцев, знаменитый Трейлаже – его звали Трейлаже, неправда ли? – учил тебя делать антраша.

Ты спрашивал меня совета относительно статей, которые ты мне послал. Вот он: приезжай сюда, проведи здесь полгода, год; приезжай сюда созреть и работать. Дай себе время необходимое для того, чтобы усвоить себе наблюдаемое. Дополни свое развитие разносторонним чтением, которое составляет основу всякого сильного человека. Пиши, когда хочешь, в уединении и размышлении, сосредоточься на одной мысли, и ты выйдешь от человека, который будет надоедать тебе всего менее, с книгой, где ты покажешь все, что ты можешь и чего стоишь. Если же ты можешь работать только в твоём противном Париже, если деревня для тебя, как ты говоришь, есть «самоубийство мысли», соберись с силами, запишись у себя на все время, которое мы рассчитываем, что ты проведешь у нас, и тогда я скажу тебе, что я думаю о книге, которую ты мне пришлешь.

Мое стадо девочек спрашивает, кому я пишу. они велели мне поцеловать тебя. Пиши мне, потому что ты моя единственная газета и мой единственный

друг,

Шаванн».

Шарль, пройдясь несколько раз по комнате, решил сделать самое лучшее, что он мог: лечь спать, и заснул сном усталого человека.

XIX

Работа! Работа! тайна жизни такая же глубокая, как тайна смерти: сон! Это активное состояние человека, в котором он освобождается от тела; когда человек не чувствует ни голода, ни холода; когда зрение, углубившееся в него, теряет способность воспринимать наружные впечатления; когда его слух, наполненный музыкой его мыслей, не слышит более; когда время для него не существует и не имея часовой стрелки может измеряться только днями и ночами; когда окружающая жизнь, среда, в которой он находится, перестают действовать на его чувства; эта прекрасная, чудная летаргия организма, уничтоженного почти иступленными усилиями мозга; это освобождение и бегство тела, дающие уму свободный полет души в нематериальный и абстрактный мир; Шарлем овладела эта божественная горячка и он находился в ней в продолжение долгих дней. Это была часть его жизни, освобожденная от реальности. Недели проходили как дни. Целые месяцы он не ощущал скуки и сплина, который овладевает после долгого отдыха умом, привыкшим к упражнению и к борьбе с самим собою; на целые месяцы прекрасный эгоизм ума освободил его от всего, что касается чувства, целые месяцы самые серьезные, социальные дела не развлекали его и занимали его столько же, сколько интересуют влюбленного дела постороннего. И чем далее он шел, тем более углублялся всецело в работу, тем более он умирал для мира.

Шарль последовал совету Шаванна. Он ходит взад и вперед по комнате, то шагает, то медленно прогуливается; шаг его – точно пульс его мысли: он то медленный, то короткий, то отрывистый; то он засыпает, то пробуждается. Шарль ходит из угла в угол, Он кружится вокруг своего стола, как пудель Фауста, останавливается и снова начинает ходить. Он шевелит губами, шепчет слово, целую фразу. Руки его скрещиваются на спине, опускаются в карманы панталон, двигаются, набрасывают бегло каракули на бумаге. Шарль кусает кончик пера, наклоняет голову, останавливается, полузакрывает глаза, ждет, ждет призывает... Наступает ночь, молчание в его комнате. Он отрывается от рассеяния. Золото на раме, глаза портрета, шум экипажа, звон люстры, стукнувшая внизу, или по соседству дверь, действуют на его чувства как во сне... Сначала в голове его точно туман, смятенье; потом покров как бы бледнеет, и за ним в облаках виднеются тысячи лучей утренней зари; затем при сокращении воли, под пристальным внутренним взглядом, формы и группы начинают образовываться; наконец при настойчивом напряжении ума рождается строка, воплощаются мысли, являются образы. Тогда он, схватывая эти видения, формулированные и окрепшие, живые и совершенно готовые, взвешивает их, пробует, переворачивает; и часто недовольный, отбрасывает их в неизвестность и пустоту, где мысли разбиваются, без шума, без следа, как мыльные пузыри при дуновении ребенка. Упавши в кресло, с влажными глазами, подпирая голову, сжимая и потирая руками лоб, как бы выдавливая из него мысли, Шарль рылся и углублялся в мысль, а новые образы уже толпились, проходили, собираясь исчезнуть: точно молодые девушки, заставляющие себя просить танцевать и шепчущие сладкие отговорки, отворачивая головки. Несмотря на это, Шарль бежал за ними, унося их почти физически в своих объятиях, и помещал в хоровод своего произведения. Наконец, с возбужденными мозговыми способностями, с натянутыми нервами, с силой фантазии, доведенной до высшей степени ясности и деятельности, посредством прилива мысленного внимания, Шарль обнимал свою мысль, содержимое своей души и бессмертную Психею, улыбка которой есть жизнь человеческого искусства.

Глухая радость и удовольствие охватывали его тогда, это огромное внутреннее удовлетворение, которое испытывает человек после творчества, как после пробы и сознания своей божественности. Чувство невыразимо сладкое и невыразимо сильное, похожее на тот внутренний свет, которым Фенелон снабжает счастливых Елисейских полей, это гордое, глубокое, и сияющее спокойствие, что-то расцветающее в нем, как чувство довольства после доброго

дела. Да, ему казалось, что какой-то праздник наполнял его душу, и возбуждал ко всему, даже к ежедневным страданиям его утомленного и больного тела, забытого в усилиях и потрясениях нравственного бытия, в этом движении крови, покидающей человека, чтобы устремиться в его мысль и в его мозг.

На другой день – сбор винограда; может быть, вы видели в подвалах с серыми дверями бочки, уставленные в ряд. Воздух напоен виноградом, который бродит; пчелы с тяжелыми крыльями летают вокруг. В тишине слышно, как падает капля за каплей; это ручеек, текущий по желобку, или в деревянные краны, откуда сочится розовая пена, блестящая рубинами на солнце. Это выжатый виноград, из которого готовится вино. Так, в бурлении крови, в опьянении мозга, из выжатой мысли создается книга.

В этой борьбе, в этих радостях, в этом опьянении, усталость, кровь, стучащая в висках, изнеможение мозга, следующее за возбуждением воображения, и ленивое бессилие, еще имели для Шарля свою прелесть и приятно щекотали его самолюбие. Он давал себя ублаживать расслабленности, похожей в своем томлении на беспомощное состояние всего организма, которое предшествует обмороку. Потом, стряхнув с себя свое бессилие, он собирался с силами, его снова охватывала лихорадка, которая оставляла его с сожалением только во сне. На подушке волнений работы беспокоили и ворочали его тело. Мысль проходила и снова шла перед его закрытыми глазами; она вновь зажигала потухший мозг, который он хотел закрыть, как лавочку, продававшую целый день. Она открывала дверь, и напоминала о жизни, об идеях, менее скрытых, менее ускользающих, менее ревнивых друг в другу, чем днем, как будто ночь, делала их лучшими, более свободными, полными уловок и кокетливости и снимала с них маску, по мере того как приближался сон. Чудные тени, феи бессонных ночей, от которых на утро остается в памяти лишь маска и пыль от крыльев.

Чтобы не потревожить этого очарования, чтобы не разбить этой цепи, связанной с невидимым миром фантазии, чтобы избежать толчка локтем приятеля на улице, удара какой-нибудь новости, парижского зрелища, чтобы убежать от жизни и заключиться в самом себе, Шарль запирался у себя на целый день.

Вечером, после обеда, так как надо было немножко прогуляться «животному» – «животным» Шарль называл свое тело, – он выдумал прогулку для пищеварения после обеда по наружным бульварам. Там он был совершенно один и весь отдавался начатой работе. Ничто не мешало его разговору с самим собой, ни стена октруа, самая монотонная из стен, ни деревья, самые монотонные из всех деревьев. Он шел вдоль стены, вдоль деревьев, бродил, направлял свои ноги, продолжая беседовать со своим произведением, разбирать положения, рыться в характерах, сочинять лица, поправлять свою комедию, копаться в своей драме, искать, думать, находить, создавать.

XX

Действительно, хотя произведение, начатое Шарлем, принадлежало скорее к достойному наблюдательности, чем в миру чистой фантазии, оно все же требовало творчества в целом и по воспоминаниям, сочинения по натуре, вдохновляющей идеи социального романиста. Его книга должна была охватить неопределенный строй индивидуумов, не заключенных в отдельную касту, но составляющих класс; сочинить характеры, которые не были бы личными и дагеротипными, но обобщенная правда которых достигала бы идеала реализма: типичной индивидуальности и резюмировала бы предмет во всей полноте и во всех подробностях его элементов. В сходстве он должен был отыскать оттенки, фон и весь мир окружающий это общество, относящееся ко всем мирам: *Буржуазию*. Этим великим именем назывался роман Шарля и какое огромное развитие общества и правительства он хотел описать!

В его романе главной идеей была градация и собрание трех поколений буржуазии, показанная в трех различных временах под тремя различными формами.

Сначала дед, покупатель национальных имений, человек положительный, основатель родового имени и воплощение чувства к собственности; собиратель земли, прячущийся вне того, что не касается пошлины, от великих экономических законов циркуляции денег; жестокий к себе, жестокий к другим, этой крестьянской жестокостью, которая напоминает Катона в Риме, и прогоняет деревенское население к более человечному крепостному состоянию в городе; человек, совершенно отделившийся от великой семьи отчизны; человек, погруженный в грубый и ограниченный эгоизм и безверие, готовый наперед все осилить, если это ему не повредит. Затем Шарль поместил отца, с его откровенностью, преданностью, великодушием, стремлениями, верованиями в человеческую или национальную солидарность; увлечениям и страстям научили его пребывание в солдатах в молодости, война Империи, потом мирные войны, политическая борьба реставрации; великие войны и благородные битвы переделали его кровь, расширили грудь, возвысили его сердце и вложили в него как бы душевное величие чести, как последняя реставрация создала самые здоровые, самые прекрасные добродетели буржуазии XVII века. Внук этого деда, сын этого отца, скороспелый юноша, в двадцать лет уже зараженный наукой опыта, нечто в роде ребенка-старика, сосредоточивал в своей особе холодное тщеславие, стремление возвыситься, сухость и расчет в интересах, нравственное чувство, пошатнувшееся советами и искушениями скандальных удач, весь практический скептицизм современной молодежи.

Женский тип в произведении Шарля соответствовал каждому типу мужчин, пополненный страстями или красотами души женщины, выставленной в трех поколениях буржуазной фамилии. Бабушка представляла из себя женщину, приниженную мужем, не позволявшим ей вмешиваться в дела; обладающая его скупостью, она исполняла в доме роль рабы-хозяйки. Мать – была супруга, жившая общей честью, разделявшая прекрасную и чистую совесть её мужа. Она была святою женщиной: мать семейства, женщина домашнего очага, живущая для своих детей и с ними, отдающая им ежечасно всю свою душу, относящаяся в нем как старшая сестра. Затем шла дочь, молодая девушка сегодня, вскоре женщина.

Из этого характера, свойственного нашему веку, из её детства, проведенного в товарищеских отношениях со своими родителями, как отца, так и матери, из её воспитания, почти одинакового с воспитанием мужчины, из её нового положения в салоне, Шарль создал две породы и два вида: одна скрывала под прикрытием своего пола душу своего брата, его бессердечную зрелость, его вкоренившиеся прихоти, его разочарования, его скороспелое безверие, увеличенные и утонченные её женской натурой; другая, обладая свободой, искренностью, грацией, возвышенным и мужественным сердцем, представляла всей своей особой нечто прекрасное и великое: честного человека в честной женщине.

Таков был план романа, где Шарль хотел возвыситься до социального синтеза, описать в её полном развитии плутократию XIX-го века, и заинтересовать внимание публики не трагедией событий, не столкновениями фактов, не ужасом и волнением интриги, но развитием и психологической драмой волнений и нравственных неудач.

Как ни запирался и прятался Шарль от мира, зарывшись в работе, все же ему попались под руку несколько номеров журнала, где его слегка задевали.

Он готов был угадать в этих писаниях перо Нашета или, по крайней мере, его слова и диктовку, внизу значилась его подпись. Это первое наказание, которое налагает маленький журналец на того, кто покидает его; вся злоба, досада, зависть, оставленная им позади себя, покидает свое бездействие и молчание, возвышает голос, делается смелее и начинает мстить. Но Шарля едва коснулись эти нападки, он сейчас же забыл все, что прочел, так он был занят своей книгой.

XXI

«Баден. Сентябрь.»

Удивительный, оглушающий, ошеломляющий город, с его улицами, гостиницами, обществом, город, имеющий вид города и вместе с тем не город, город очарованный случаем, город невозможный, построенный на сваях на Потозе, меняющем русло каждую секунду, город, встряхиваемый как мешок с лото, город звучный, как ярмарка фортуны, город, где ходят по грудам серебра и по битым черепкам, город, походящий на жизнь, несущуюся галопом. В четверть часа в нем миллионер имеет долги, а лакей имеет прислугу; это – ад Данте, утоляемый надеждой, опьяняющей надеждой! Город, имеющий только игорный стол, на котором пляшут ночью, как после ужина пляшут на сукне бильярда; город, где нет ни мужчин, ни женщин, ни человечности, ничего, кроме рук, бросающих и собирающих; город, где нет более природы: деревья зелены, как зеленый ковер, а небо... неба тут нет более: это двойная ставка судьбы! Город сумасшедших, где более умные делают вычисления, чтобы поймать счастье; город где деньги – не деньги, не ценность, не вес, не труд, не причина; где они – счастье, мечта, каприз, игрушка, ветер, дождь – это Баден, мой милый, и я в нем нахожусь.

Это было... какой день? Во всяком случае не позднее чем третьего дня. Я не встречал никого. Париж весь выехал. Я беру пропуск и пятьсот франков в «Скандале», и попадаю сюда.

– Нашет!

Это был Шоз, знаменитый водевилист, не знаю другого его имени. Встречаю Блезара, встречаю Мине, встречаю всех.

– А ты играешь?.. У тебя есть деньги? При этом бутылка рейнского, которая опьяняет меня. Умеешь ты играть?

– Да, в войну.

Проходит Галлардэн, который предлагает мне денег. Я ему даю луидор.

– Играй на шестой номер, играй на зеро!.. Нет... Да... Нет... Девятый! В ушах у меня начинает звенеть.

– Идем! к игре! Ты счастлив в игре?.. расстегни вторую пуговицу на жилете. Это принесет счастье. Я вижу проходящего вдали Масье, который точно декламирует стихи, делая жесты руками. Я подхожу к игре. У меня был вид застенчивого человека, который преследует женщину на улице. Я ставлю сто франков на красную и выигрываю. Черную, сто франков; проигрываю. Черная, сто франков, опять проигрываю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.